

ISSN 0013-0360

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

საქართველოს
ლიტერატურა

5

1980

10.335/
1980



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

- ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ.** Стихи. Переводы
Ильи Дадашидзе, Беллы Ахма-
дулиной, Яна Гольцмана, Бори-
са Резникова, Георгия Маргве-
лашвили, Бориса Пастернака и
Екатерины Квитницкой 3
- МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ.** Стихи. Переводы
Юнны Мориц, Михаила Синель-
никова и Алексея Пьянова 13
- РЕВАЗ МАРГИАНИ.** Единственная книжка
поэта 83
- ВЛАДИМИР УБИЛАВА.** Стихи. Перевод
Игоря Жданова 86

ПРОЗА

- ГЕОРГИЙ ЦИЦИШВИЛИ.** И тебя настиг-
нет пора сожаленья. Рассказ. Перевод
Камиллы Коринтэли 18
- ДАВИД КВИЦАРИДЗЕ.** Фляга. (Из цикла
«Рассказы о Белоруссии»). Перевод с
грузинского 75
- ГАЛИНА КОРНИЛОВА.** Рассказы. 101

5

1980

К 35-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ



ВАЛЕНТИНА БАЛУАШВИЛИ. На переднем крае обороны. (Некоторые принципы ху- дожественного отображения обороны Кавказа в литературе военных лет)	117
КОНСТАНТИН СЕРЕБРЯКОВ. Однополча- нин (Заметки о моем фронтовом друге)	142
АНАТОЛИЙ КИСЕЛЕВ. Дело всей жизни	150

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ»

АЛЛА МАРЧЕНКО. Врожденное чувство ис- тории	158
---	-----

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

САРГИС ЦАИШВИЛИ. Георгий Леонидзе. Перевод Георгия Маргвела- швили.	170
ГУРАМ ГВЕРДЦИТЕЛИ. Свет души...	184
ЛЕВОН МКРТЧЯН. Слово, дело и время	191

ИСКУССТВО

ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ. Театр — наша любовь. Перевод Анаиды Беставашвили.	196
РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ. Открытая рана. Пе- ревод Камиллы Коринтэли	212
ХРОНИКА	218
БИБЛИОГРАФИЯ	221
ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА	222

К 80-ЛЕТИЮ
ГЕОРГИЯ
ЛЕОНИДЗЕ



Георгий ЛЕОНИДЗЕ

ТОСКА ПО ЗЕМЛЕ

И я затосковал в кабине самолета
По гомону дроздов, по запахам земли,
По звону родника, по трепету осота —
Что делать мне без них в заоблачной дали?

Ну что же ты, душа —
Не ты ли так стремилась
К полету в небеса, к набору высоты?
Зачем же о земле грустишь, скажи на милость,
По звону родника зачем тоскуешь ты?

ПРЕДКОВ ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗОР

Если я вам порою кажусь ратоборцем былого,
И перо мне оплавил зарницы пылающий блик,
Значит взор моих предков мне в сердце вонзается
снова,

ბ. ლ. ლ. ლ. ლ.
ლ. ლ. ლ. ლ. ლ.
6 60000 1060
8037010000

Значит, пристальный взгляд их мне в самую душу



Этот взор неуклонный — навек я пред ним безоружен!
Так упрямо и круто он мой испытует глагол,
Что не знаю уже — то ли дар мой кому-нибудь нужен,
То ли пел я впустую и стих пустоцветом зацвел.

Или впрямь постарел я — глашатай родимого края,
И на сердце тоска навалилась — хоть криком кричи...
Но ловлю этот взор и, как прежде, встаю, замирая,
У судьбы на краю, где виденья скрестили мечи.

* * *

Если с предгорий взгляну я на Мцхета,
Всю мою Картли — от края до края,
Всю — в золотистом сиянье рассвета —
Вмиг обойму я, к груди прижимая,

Все ее горы, отроги, низины
Земли, с которой я ныне и присно.
Надо и вправду дойти до кончины,
Чтоб ощутить, чем была ты, Отчизна!

Вот она — этого края примета —
Крылья орла у меня за спиною...
Если с предгорий взгляну я на Мцхета,
Прошлого тени встают предо мною.

Длится сумятица схватки старинной,
Кровью кипят арагвинские плесы,
Мечутся всадники, и над равниной
Звезды утрат набухают, как слезы.

Вижу, как будто бы зоркость утроив:
Дымом пожарищ захлестнуто небо...
Пишется, пишется жизнью героев
Летопись Грузии — Картлис Цховреба.

Если с предгорий взгляну я на Мцхета,
Руки раскину полям и теснинам
В жарком порыве за счастье —
За это
Счастье, о боже, родиться грузином.

Перевод Ильи ДАДАШИДЗЕ

ЭТА РОЗА



Эта роза —
воистину роза моя!
Адрес розы — иной, чем у сада и грядок.
Стих, продли это время на все времена:
краткий день не окончится, полночь не грянет.

День не окончится, полночь не грянет, но дню
день перескажет, нашепчет: что держит в секрете.
Я не состарюсь и не онемею, продлю
свет проливной, упаданье воды и соцветий.

Это — любовь, из сверканья небес и полян
злато добуду и новой предам его доле,
чтобы, любимая, длился, и цвел, и пылал
блеск драгоценности, что не дается ладони.

ФРЕСКА АНГЕЛА

Ты показала мне ангела. Много
фресок я видел. Но кроток и ласков
этот на диво. Как быть одиноко
столь долгокрылым и столь большеглазым.

Слабым движеньем руки грациозной
ты обращала Тamar венценосной
давнее время во время живое.
И недомыслию тайна открылась:
та большеглазость и та долгокрылость
не одинока. Вас, белых, здесь двое.

Ты была схожа с восходом в первейший
день мирозданья и свет излучала.
Теплился скромно двойник твой померкший,
он — повторенье, а ты — изначальна.

Ангелов — два, и один недостойный
их созерцатель. Я был снегопадом
света осыпан, и слышался стройный
грохот Куры, протекающей рядом.

Я видел с выси сумрачные свитки
 истории: все бедствия, и вихри,
 и реки крови. Как в отверстой книге,
 величье родины я прочитал не в них ли?

Не знает мха отвес скалы Дарьяльской,
 не иссыкает жизнь лозы дарящей...
 Вершинам гор неведома тщета,
 и лишь Эльбрусу впору и по росту
 постичь людей высокую породу,
 из коих тот, кого зовут Шота.

НА РАССВЕТЕ ПРИХОДИТ МОЛОЧНИЦА

Ко мне на рассвете приходит молочница,
 трезвонит Кура золотыми бубенчиками.
 О, что за нашествие, что за паломничество
 с дарами обещанными и не обещанными.

По Картли, по морю его изумрудному
 ткемали летят паруса белоснежные,
 и Пиросмани в духане зарю мою
 тоже встречает, и, всмотримся ежели,
 птицу увидим, что им нарисована.
 В небе — фиалок нависшие заросли.
 Сколько даров! Принимаю их снова я
 в сердце, принявшее дар лучезарности.

Кто-нибудь, здравствуй, иди и гляди со мной:
 в утреннем облаке — ласточек росчерки.
 Как я люблю этот город единственный.
 Сколько в корнях его силы и прочности.

Перевод Беллы АХМАДУЛИНОЙ

ДОЖДЬ В ГОРАХ

Грузное тело тумана шагом нескорым
 В черном ущелье бредет и пальцами шарит...
 Водки ячменной, пшавской, хлебнули горы:
 Храмовый праздник в честь святого Лашари!

Пепельномшистая туча цепче хевсура
Перетекает скалы, струится лениво.
...Вдруг по-кистински взыв — такова натура!
Ветер подсек ее, прыгнув с обрыва.



Враз вперекрест клинки! И — бела округа:
Молнии рубят вкось! Доспехи — гнуты.
Недруги щупают пульс друг у друга —
Кто-то испустит дух в эти минуты?

К башне прибита чья будет десница?
Раненый лев взревел громоподобно!
Воздух уже — гляди! — кровью сочится...
... Но забренчит струна чисто и дробно:

Хлынет блестящий дождь, словно пандури
Всех примиривший звон в братском застолье.
Все веселее стол! Сколько лазури!
Льет бирюзу смарагд! А на просторе —

Пораспрямив хребты в утреннем свете,
Горы алаверды пьют неторопко.
...Корни цветов и трав — малые дети —
Всхлипывают на дне тоненько, робко...

Перевод Яна ГОЛЬЦМАНА

* * *

...А ведь все же незримые руки метели
Убелили волос моих первую прядь.
Жизнь летит, и уходят часы и недели —
Лишь весна каждый год возвращается вспять!

Лишь цветы ежегодно приходят обратно
На места, что для жизни мы им отвели,
И не гаснут их свежие, яркие пятна
На лице плодородной и вечной земли...

Виноград моей юности, ты увяданьем
Уж охвачен! И все же готов я к тому,
Чтобы сок твой выдавливать с прежним
стараньем...

А настанет нужда —

на подмогу возьму

Ркацители!

Пусть будет оно плодоносным
И сверкает, как встарь — вот тогда я навек
Отряхну седину, как высокие сосны
В марте сбрасывают чуть подтаявший снег...

Перевод Бориса РЕЗНИКОВА

* * *

Вот мою книгу

среди книг

Девчонка выбрала с витрины.

Какие добрые смотрины!

Вот кто с народом нас роднит! —

Дал волю я своей гордыне.

А синеглазая домой

Торопится снести добычу...

Кто знает,

сможет ли пробиться

К ней в душу

дерзкий лепет мой!

И разве я уверен сам

В премудростях, что ей поведал?

Не сплеховать бы тем стихам,

Да самому не впасть бы в срам —

Молю я небо лишь об этом...

* * *

Конечно, увянут все эти цветы,

И будут осушены все эти роги,

Олени падут на отрогах,

мечты

Покинут меня — и к чужому порогу.

Познает лоза увяданья испуг,

Обрушится с гор серебро в круговерти,

Но кто обретет чудотворства досуг?

Конечно, стихи! Это час их бессмертья!

Перевод Георгия МАРГВЕЛАШВИЛИ

ЧАЙКА



Люблю я волн неистовую синесть,
Когда на солнце море, как в огне,
И белой чайки яркости не вынести,
Раскачивающейся на волне!

Со вздыбленного гребня, как с трамплина,
Она взлетает вверх под облака.
Прибоя выгнувшаяся пружина
Ее бросает силою толчка.

Как это море в солнечном ожоге
И волн расколыхавшаяся гладь,
Душа всегда в волненьи и тревоге,
Которых я не в силах передать.

Подбрасывая чайку, как игрушку,
С ней возится и носится прибой.
Не так же ли играем мы друг с дружкой
И толку не добьемся меж собой?

С добычей в клюве чайка мешковато
Бьет по воде опущенным крылом.
Порой в твоей улыбке виноватой
Есть тот же ускользящий излом.

Особенно на чайку ты похожа,
Когда, как ночью, черен кругозор,
И море бурно, небо непогоже,
И волны на просторе выше гор.

Когда, наволновавшись до упаду,
Решаешь ты сменить на милость гнев,
И силой прояснившегося взгляда
Вдыхаешь жизнь в меня, повеселев.

Все предо мной тогда покрыто мраком,
На будущем — тумана пелена.
Тогда, как чайка, рея добрым знаком,
Ты тем белей, чем больше ночь темна.

Люблю я волн неистовую синеть,
Когда на солнце море, как в огне,
И белой чайки яркости не вынеть,
Раскачивающейся на волне.



Как это море в солнечном ожоге
И волн расколыхавшаяся гладь,
Душа всегда в волненьи и тревоге,
Которых я не в силах передать.

Перевод Бориса ПАСТЕРНАКА

НА БЕРЕГУ ИОРИ

1.

Луна полна, а сердце — на ущербе.
Я песню мельниц снова слушать рад.
По-старому — о жизни и о смерти —
Между собою звезды говорят.

Все тот же берег волнами обласкан.
Сохранен мир — знакомец прошлых дней.
Жива картина детского соблазна:
Вот ивы моют волосы в воде.

Как постоянен мир многообразный —
Впадение рек, волнение вечных сил.
Земля моя, я бы сказал ей: здравствуй!
Но разве я отсюда уходил?

Форель всплеснула в водоеме ночи.
Как близок мне далекий окоем!
И корень мой гнездится в этой почве,
И стебель — вырастает из нее...

2.

Первый возрос колос
На пустыре голом —
Первых стихов голос
Моим завладел горлом.

Скроен из лент радуг,
Мир засиял гордо.
Рядом была радость,
Было поодаль — горе.

Небо опять ярко.
Воды опять сини.
Я получил в подарок
Свои молодые силы.

Мое звучит слово?
Мое горит пламя?
Все получил снова
С обратным адресом:
 память.

3.

Да, я пришел к тебе.
 Вошел, не сняв сандалий.
Да, плакали, как встарь,
 плакучие твои.
И снова ты лилась
 из неприступных далей,
Вода моей реки,
 река моей любви!
Река была в горсти —
 в руке моей сыновней.
Ей не было и нет
 ни края, ни конца.
Я отразился в ней,
 чтоб ей напомнить снова
Черты своей любви
 и своего лица.
В ее живой воде,
 среди листвы плавучей
Я отыскал родник
 своих давнишних сил.
Я позабыл, что я
 был болен и измучен.
И у своей реки
 я радости просил.

4.

По черствой, твердокаменной земле
Течешь бездумно столько лет подряд.
Одна, шатаясь от скалы к скале,
Бредешь слепая, без поводыря.

Ты, сонная, ложишься иногда
На мшистый камень — как хмельной хевсур
И водопады держишь на весу,
Чтоб влажной пеной опоить стада.



Не впряжена в поденный воз труда,
Себя впустую расточаешь ты.
Тебя ли не посмеет обуздать
Кахетии двужильный богатырь?

Крылатую тигрицу — не согнет?
Не переможет самолюбье волн?
Скорей прими крещение огнем
И пламень вдохновенья моего!

5.

Вниз по теченью не сплавляют лёса.
Обуза — парус, тягостен — паром.
Заветным ты не делишься добром.
Течешь капризно, скупо, бесполезно.

Не рвешься к шлюзам и не знаешь дамб.
А Грузия встает, глядит с укором...
Злорадствует в тумане древний ворон:
Ему по вкусу снулая вода...

6.

Встань, мускулистая вода,
Для неустанного труда
И замахнись волной на камни!
Иори кахетинский дэв,
Речное ложе оглядев,
Сожмет могучими руками.
Он берега вобьет в гранит,
Он фонарей протянет нить.
А я пойду слова гранить,
Трудясь для песенного дела.
По Сакартвело новым днем
С крутой рекой пойдем вдвоем.
И будет на плече моем
Лежать ладонь Важа Пшавела.

Перевод Екатерины КВИТНИЦКОЙ



НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Наступает январь — и еще один год мой убит!
 Календарь перелистан, могильной плитой аккуратной
 Он лежит на столе, словно стол мой — то самое место,
 Где убитый мой год погребен, похоронен, зарыт.
 На плите календарной, на толще надгробного камня,
 Не оставил никто, к сожалению, надписи краткой,
 Этой древней печали, торжественной и леденящей:
 «Мир усопшему праху!», «Прохожий, остановись!..»
 На плите календарной, на толще надгробного камня —
 Второпях, суетливой рукою записано мною:
 Что я делал в течение года (а делал ли что-то?), —
 Сотни, тысячи встреч, поручений, долгов, обещаний,
 Благородных намерений, пылких порывов, идей,
 Адресов, телефонов, имен — всех знакомых и всех
 незнакомых! —
 Всех, кто вместе со мной отвечает на страшном суде
 За убитое время, убитое время, убитое время!..

ДОМРАБОТНИЦА

На скуластом лице, загорелом, обветренном,
 расставлены так широко-широко
 два куса синевы купоросной — два глаза.
 И древесной корой шелушатся крестьянские губы, —
 их пока не прельстил вкус помады и вкус поцелуя.
 Деревенская юность по комнате топает тяжело.
 В застекленных шкафах
 одноногие звякают рюмки.
 Всюду вижу ее деревенские ноги,
 колени округлые, икры, лодыжки.
 Чувствую, как холодит благодатно

эти босые ступни, эти пятки,
чистая свежесть кленовых паркетов.



Два яблока весело дышат под кофтой, —
скачут смешно при ходьбе, на свободе,
на воле, не стянутой лямкой неволи.

Вот чай ароматный гостям принесла.

«Племянница нашей троюродной тети...
Учиться приехала к нам... из села...» —
Затянулась хозяйка крутой сигаретой,
ногу — на ногу, и улыбается грустно,
из-под платья мертвецки белеет колено, —
словно кость бедуина
в раскопках пустыни.

МОЛЬБА

Господь всемогущий! Покуда мы живы,
свой взор милосердный на нас обрати,
не допусти,
чтобы нам у кого-то что-то просить приходилось
в пути,
защити беззащитных, сердца освети
ясновидящим Словом,
сейчас и в грядущем —
дай живущим все то, что присуще живущим,
дай умершим все то, чем их жизнь обделила при жизни:
дай признания призрачность в кровном кругу и в
Отчизне.

Перевод Юнны МОРИЦ

БУДАПЕШТСКАЯ НОЧЬ

На дне двора валяюсь, как в темнице
забытый узник — не пошевелиться.

Дом — как бинокль, равнина звезд ясна,
ряды домов подобны темным сотам.
Немало нынче выпил я вина.
(Конечно, перебрал... да уж чего там!)

И в сумраке горящее, одно —
отверстой раной кажется окно,
как будто миг назад в святой печали
с оконной рамы Иисуса сняли.



Открылся грот во глубине окна.
Чудесное виденье неотвязно —
Сусанна там, уже обнажена,
змущает старцев безднами соблазна.

Который час и где я? Чад подвала...
О, Солнце жизни, светлый мой апрель,
одно желанье у меня и цель —
чтоб ты, меня припомнив, тосковала!

Но до тебя — такая даль пути.
Я, кажется, булыжин бессловесней.
До слуха твоего не донести
мне в этот час
 моей
 грузинской песни.

РАЗДУМЬЕ

Опустошило, состарило время меня,
Перемололо мечтанья, видения прошлых бессонниц,
Но я все ж бегу во владенья грядущего дня,
Как слепой марафонец.

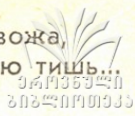
Так и буду бежать — из вчерашнего к новому дню,
И в пути не свалюсь (если будут приятельны боги!),
Ну, а если, отчаявшись, будущего не догоню,
В ожидании прошлого я постою на дороге.

* * *

Море, только с тобой человечье не свыкнется око,
Не вода предо мной, а сплошной изумруд, лазурит.
Я гляжу на тебя... Море, ты велико и широко, —
Но твоя глубина разве жажду мою утолит?

Снова с горлом иссохшим к тебе я схожу, и на ложе,
На мерцающем лоне, ты, словно красавица, спишь.

Как дыханье любимой струятся, маня и тревожа,
Твой прилив и отлив, не нарушив блаженную тишь...



Как она ненасытна, живая душа человечья!
Нас пространство пьянит, потрясая тревогой немой...
Почему иногда ожиданье нечаянной встречи
И тоска по любви — нам любви драгоценней самой?!

НОВАБРЬСКИЙ МИРАЖ

Вновь обманул ты и скрылся из глаз,
В облике новом, малознакомом, —
Гений погоды... Но как же угас
Этот пожар, что пылал перед домом?

Словно чудовищная копна,
Сквер полыхал, и до вечера стекла
Пламя лизало, и только стена
В страхе смертельном бледнела и блёкла.

Треск не раздастся, не вырвется дым.
Пламень безмолвствовал, страшный и ярый, —
Словно сиял перед домом моим
Пышный шатер венценосной Тамары.

Не было слышно колоколов,
Не было видно вельмож... И сурово,
Словно пожара вселенского рев,
Длилось молчанье костра золотого.

Ты погляди-ка теперь: только ели
В лютом огне почернев, уцелели.
Дождик угрюмый — словно дрова,
Моем обугленные деревья.

Ветки испепеленное тельце...
Мгла, словно дым, растеклась там и тут...
И удрученные, как погорельцы,
Вдоль по бульвару люди снуют.

ЭЛЕГИЯ



Лес красоту теряет что ни час,
Он кашляет чахоточно и тает.
Деревья обнажаются, но нас
Больная нагота не соблазняет.

117-877
Деревья платья сияются стряхнуть,
Протягивают к нам худые руки...
Но женственность увядшая ничуть
Не привлекает. Стыдно этой муки.

Обедня запоздалая... Мертва
Пустая осень... И разверстой раной
Лес кажется, и падает листва
Стремниной нескончаемой, багряной.

И лиственному ливню нет конца!
И вновь по лесу ходишь ты в печали,
Как будто не обрывки багреца,
А комья праха на тебя упали.

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

СЧАСТЬЕ

Пусть тебя караулит беда
И в окошко стучится ненастье, —
Все равно никогда, никогда
Не теряй ты надежду на счастье.

И однажды на долгом пути
Будешь встречей со счастьем одарен.
Только ты распознай, ощути,
И навек ему будь благодарен.

Перевод Алексея ПЬЯНОВА

И ТЕБЯ НАСТИГНЕТ ПОРА СОЖАЛЕНЬЯ

Р а с с к а з

...Накануне, едва стало смеркаться, на наш бронепоезд, стоявший тогда у прифронтной станции Верея, неожиданно налетели три немецких бомбардировщика.

Мы в это время только что вернулись с огневой позиции и в ожидании открытия пути собирались ужинать.

Дежурный еле успел ударить в небольшой колокол, подвешенный к крыше кухонного вагона, как тут же раздался гул самолетов.

Закопченные, продымленные «хейнкели» заходили к нам с тыла. Летели они со стороны станции, довольно низко, и от этого казались еще огромней. Прежде чем мы опомнились, прежде чем открыли огонь из зенитных орудий и пулеметов, машины с черными крестами на крыльях сбросили бомбы и скрылись, а бронепоезд успел дать всего два залпа, и оба раза безрезультатно.

Стояли мы на боевых платформах и от бессильной ярости рта не могли раскрыть. Особенно взбешен был наш командир, славившийся мужеством и бесстрашием, угрюмый с виду, но добрый по натуре капитан Балашов.

Как бывает в подобных случаях, все мы старались найти оправдание своей нерасторопности.

— Видно, они издалека подбирались, по-над лесом летели, иначе не удалось бы им так незаметно под-

красться. — первым нарушил молчание комвзвода Гера-симов.

— Я едва успел на платформу подняться, а бомбы уже посыпались... В этом дурацком ВНОССе опять все оглохли! Который раз опаздывают предупредить!.. — начал было возмущаться командир огневого взвода Китаев.

— Старший лейтенант Китаев, — прервал его командир бронепоезда, — рассчитывать надо только на себя. Никто нам не поможет, если мы сами не будем бдительны. Вот нагрянет сейчас комиссия из штаба для расследования этого случая, пойдешь и докажи, что этот проклятый «ВНОСС», черт бы его побрал, все еще плохо работает!..

— Да одно его название чего стоит! — взорвался комиссар Степанов. — «Служба воздушного наблюдения и оповещения средствами связи»! Слыхано ли военному объекту иметь такое длинное название! Сорок первый год на исходе, война всех уже чему-то научила, а этот «ВНОСС» каким был, таким и остался: неповоротливым, неуклюжим, как и его название! Нет, я должен подать командованию особую докладную, этого нельзя так оставлять!..

Капитан Балашов слушал его, слушал и с досадой махнул рукой.

— Мы сами начеку должны быть, сами! — грозно выкатив глаза, сказал он. — Куда это годится, чтобы такая мощная артиллерийская сила, как бронепоезд, стала мишенью случайного налета!

Балашов оказался прав: не прошло и часу, как к нашему бронепоезду подкатила закамуфлированная «Эмка», полосатая, словно зебра, машина заместителя начальника артиллерии армии, полковника Гурко.

Разъяренный полковник срочно собрал всех офицеров бронепоезда и грозой обрушился на нас, — что называется, дал жизни.

Он почти слово в слово повторил то, что мы только что слышали от Балашова. Я усмехнулся про себя: видимо, все артиллеристы говорят на одном и том же языке.

— Вас только то и спасло, что железнодорожная насыпь такая крутая! Почти все бомбы угодили в ее отвесный склон, потому и осколки и взрывная волна

стороной вас обошли! Гляньте-ка, сколько водопроводов вокруг, да если бы хоть часть бомб в цель попала, от вашего бронепоезда осталась бы куча лома! Везет же вам, олухам, везет, сами-то вы ротозеи никчemuшные, голотовяпы, черт вас дерит! — орал Гурко.

— Товарищ полковник, — с улыбкой обратился вдруг к нему комиссар, — а ведь получается, мы фашистам знатный урон нанесли: они на нас столько бомб извели, а с нас как с гуся вода!...

Комиссар отлично знал, что гнев полковника в первую очередь направлен на него и на командира, и решил несколько разрядить обстановку.

Полковник, слегка опешив, возрился на Степанова, соображая, шутит он или всерьез говорит. Потом нахмурился и снова раскричался:

— Урон, говоришь? Сами вы сплошной урон! В тылу из кожи вон лезут, кормят вас, поят, оглоедов, а вы чего делаете? Пищу перевариваете только?

Полковник обращался ко всем, но красноречиво поглядывал на командира и комиссара, — как говорится, бутылку бранили, чтобы кувшин услышал. Лично их он не называл, но каждому было ясно, что весь огонь направлен на них. Такого разноса я, пожалуй, с самых курсантских времен не упомяну.

Наконец, Гурко отпустил командиров взводов, и перед ним остались мы трое: командир, комиссар и я, заместитель командира. Мы стояли, красные от стыда, и слова не могли сказать в свое оправдание. А полковник продолжал бушевать. По-моему, наше молчание пуще распаляло его.

— Почему вы утратили бдительность? — разорялся он. — Чем занимаются ваши разведчики? Где ваши воздушные наблюдатели? Под трибунал вас отдать, под трибунал! Спите, ворон считаете! Пока они вам на башку не сели, вы и не почесались! Да не на бронепоезд вас, разгильдяев, на телегу, на облучок посадить! И не пулеметы, а кнут вам в руки дать! Только вы и с заухудалой клячей-то не справитесь, куда вам!...

Когда рассвирепевший вконец Гурко на мгновение умолк, чтобы дух перевести, комиссар тотчас этим воспользовался, заговорил вкрадчиво, увертливо и незаметно завладел инициативой. Полковник сперва лишь сверлил его грозным и недоверчивым взглядом, но постепен-

но стал все более внимательно прислушиваться к его словам.

А уж Степанов соловьем разливался! Чего не ворил, чтобы Гурко разжалобить. Неглупый от природы и опытный, он знал различные ходы и приемы в поведении с начальством и мастерски умел ими пользоваться. Знал он и то, что порой лучшая оборона — это наступление, и умел предъявлять такие претензии начальству, против которых, что называется, не попрешь. Вот и сейчас нарисовал он Гурко такую жалкую картину, будто и орудия у нас не годятся, и прибор артиллерийско-зенитного управления неважнецкий, и вообще люди неопытные, необстрелянные, словом, исплакался весь наш Степанов!

Вообще-то в его речах была немалая доля правды, но меня, тогда еще юношески бескомпромиссного офицера, покоробили все эти преувеличения. Я заметил, что и командиру нашему не очень-то по душе, что комиссар так прибедняется.

Однако Гурко, по-видимому, думал иначе. Гнев его улегся, он закурил и с еще большим вниманием продолжал слушать Степанова.

Смекнув что заместитель начальника артиллерии доведен до нужной кондиции, Степанов попросил его о помощи. «Теперь, товарищ полковник, разрешите доложить о самом необходимом», — сказал он. Гурко повел глазами, кивнул. Но комиссар не стал сам докладывать, а предоставил это командиру.

И тут наш прямолинейный и правдивый Балашов чуть было не испортил все дело. Мне, говорит, только на дальномере человек нужен, все остальное в порядке, товарищ полковник!..

Полковник с удивлением вскинул на него глаза, но тут вновь поспешил вмешаться комиссар. Он попросил заменить третью пушку с неисправным казенником, обменять счетверенный пулемет «Максим» на крупнокалиберный, потом ввернул словцо о легкой железнодорожной дрезине, «вот бы ее нам...». И под конец вырвал у полковника обещание прислать нам пополнение.

Гурко записал все просьбы, все претензии, крепко пожал руку комиссару, весьма довольному беседой, и обещал свое содействие. На нас с командиром он только метнул суровый взгляд из-под нахмуренных бровей.

Очевидно, он сделал вывод, что на бронепоезде — в отличие от остальных, политработники куда лучше разбираются в боевых делах, нежели командиры.

Как бы то ни было, он распрощался с нами довольно тепло и отбыл почти умиротворенный. Я понял, что это всецело заслуга комиссара. Он облегчил задачу Гурко, и, вероятно, так же, как комиссар утихомирил его, так и сам полковник успокоит своего начальника.

В тот день я получил хороший урок. Я убедился, что военное искусство — искусство тонкое и сложное, для овладения им одних лишь знаний военного дела, пусть самых глубоких, далеко не достаточно...

Командир наш тоже, видно, задумался надо всем этим, только, к моему удивлению, в его глазах я увидел печаль.

Полковник Гурко исполнил свое обещание: на третий день после тех событий нас уведомили из штаба, что дают нам двух дальномерщиков, окончивших специальные военные курсы, — шлите, мол, своего старшину, пусть принимает людей.

Командир срочно отправил за повичками старшину бронепоезда Шульженко. Наш дальномерщик, седоголовый сержант, перешагнувший за пятьдесят, работал из рук вои плохо — у него болели глаза, они постоянно слезились, а мы, благодаря его ошибкам, никак не могли наладить точную стрельбу по прибору.

...Весь тот день, от завтрака до ужина, мы с командиром провели на последней платформе. Там работали транспортники. Во время налета «хейнкелей» была повреждена одна из колесных пар, и ее срочно ремонтировали.

Капитан, присев на корточки, рассматривал вновь установленную буксу, когда явился старшина Шульженко и отрапортовал:

— Ваше приказание выполнено, товарищ капитан!

— Привез? — капитан стремительно поднялся и выпрямился во весь рост.

— Так точно, товарищ капитан, привез!

— Хорошие ребята?

— Обе бабы, товарищ капитан, — проговорил старшина с таким видом, словно сообщал о гибели двух своих лучших друзей.

— Чего-о? — выкатив от изумления глаза, переспросил капитан.

— Так точно, товарищ капитан, обе бабы, — тем же скорбным тоном подтвердил сержант.

— Чего ж ты их сюда волок?! — заорал капитан.

— А что мне было делать? Приказ ведь... документы на них выдали, сказали, добрые бойцы..

Капитан разразился гневом:

— На кой дьявол мне эти бабы! Слыханное ли дело — бабы на бронепоезде! Это еще что за новость! Издеваются они, что ли, над нами, черт их дери совсем! — Он в ярости метнулся туда, сюда, потом схватил с земли ветошь, вытер измазанные мазутом руки, в сердцах с силой швырнул эту ветошь наземь и громко сплюнул. — Баб в пополнение присылают, а? Каково? Здесь не каждый мужик сгодится, а бабы... да какой с них прок?! А ты-то, ты чего стоял, рот разинув, не мог сказать, что ни к чему нам такие бойцы? — набросился он на Шульженко.

— Да я сказал, товарищ капитан. Так что, говорю, бабы, они в постели хороши, оно верно, а на бронепоезде, говорю, чего им делать. Да кто ж меня слушал!.. — скаля желтые с червоточинками зубы, оправдывался Шульженко.

Капитану не по душе пришлась шуточка старшины. Он сразу овладел собой, погасил свой гнев и, нахмутив брови, рявкнул на Шульженко:

— Р-разговоры! Показывай, где вновь прибывшие бойцы! — И обернулся ко мне: — Пойдешь со мной.

— Да вон они стоят, товарищ капитан, около средней платформы, — уже иным, деловым тоном сказал Шульженко и указал рукой.

У средней платформы вокруг новеньких собралась толпа бойцов.

Все, кто был свободен от дежурства, прибежали поглазеть на вновь прибывших, которые оказались в самой середине этой толпы. Стоявшие сзади теснились, поднимались на цыпочки, чтобы увидеть девушек. Слышались смешки, гогот, веселые возгласы.

— Гляди, как налетели, а?! — в сердцах сказал мне капитан и опять сплюнул. — Бронепоезд и корабль — один черт, баб допускать нельзя. Стереги их теперь... Вот увидишь, задурят они вконец ребят. Да как я дол-

жен воевать с таким пополнением? Бабы фрицев бить будут?.. Э-эх!

Навстречу нам шел комиссар. Вид у него тоже был крайне недовольный.

— Ну, герой! Мощное привел пополнение, а! — язвительно сказал он Шульженко.

Тому, видно, надоело оправдываться, он развел руками, пожал плечами и, ухмыльнувшись, коротко ответил:

— Кого дали, того и привел.

О нашем старшине поговаривали, что он нечист на руку. Случалось, жаловались на него, однако уличить его в том никто не мог, и Шульженко продолжал оставаться на своем месте. По части женщины тоже водились за ним грешки. На бронепоезде его недолюбливали, но до войны он был сверхсрочником и избавиться от него было не так-то просто. Особенно не любил его комиссар — он терпеть его не мог.

— Слыхано ли, к волкам овечек запускать, — сокрушался комиссар. — Сто волков и две овечки, а? Да шут с ними, с овечками, но волки-то, волки перегрызутся!..

Мы подошли к платформе.

В иное время при появлении командира бойцы все как один тотчас бы повернулись к нему, взяли бы под козырек и все честь по чести. Теперь же на нас не обратили ни малейшего внимания, словно и не заметили! Все взоры, все уши были прикованы к двум девушкам, которые ожесточенно отбивались от двусмысленных шуточек. Гогот и хохот не смолкли и с нашим приходом.

Командира все это не на шутку взбесило, и он загремел:

— По-о местам!

Обыкновенно по этой команде бойцы сломя голову бросались по своим платформам, разбирались по расчетам. Они и на этот раз начали расходиться, но как! Они тащились, они брели, волоча ноги, будто не приказ выполняли, а просто разгуливали. Представьте, не только зеленые юнцы, но и солидные сержанты с большим неудовольствием покидали веселый круг и не переставали оглядываться на ходу.

У командира заалели мочки ушей. Это был признак того, что он разъярен до предела.

— Ж-живо! — гаркнул он, и жилы на лбу у него /
вздулись.

Когда бойцы наконец разошлись, мы оказались лицом к лицу с двумя статными девушками в военной форме. У одной из них, белокожей, с черными, распущенными по плечам кудрявыми волосами, в глазах сверкали слезы. Словесный поединок с бойцами, видимо, оказался не безобидным. Девушка украдкой стряхнула с густых ресниц слезинки и лишь потом взглянула на нас.

Та из девушек, которая казалась старше по возрасту, с сержантскими треугольниками на петлицах, сделала несколько шагов по направлению к командиру и бойко, четко доложила:

— Сержант Марина Нелидова прибыла в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы.

Вторая последовала ее примеру, она оказалась рядовой Тоней Веремеевой.

Ни одна, ни другая не знали, кто был командиром, — и у комиссара, который по званию был старший политрук, и у Балашова на петлицах было по шпале. Но обе девушки, рапортуя, дипломатично поглядывали то на одного, то на другого, так что и комиссар, и командир могли принять рапорт на свой счет.

Я улыбнулся, потому что это был хорошо известный прием, и каждому из нас не однажды приходилось к нему прибегать.

Внешний вид девушек, их выправка, повадки говорили о том, что они прошли хорошую военную подготовку.

Командир стоял, не двигаясь, мрачный, недовольный, насупленный.

Он даже руки не поднял в знак приветствия, слова не проронил.

Девушки тоже выжидающе молчали. Видимо, разница между приемом, который оказали им солдаты, и суровостью этой встречи была велика.

Я видел, что обе они крайне взволнованы. Вообще угрюмый, а теперь еще и разгневанный сюрпризом Балашов с его седеющей гривой, вероятно, казался им грубым и злым. А ведь в действительности он был добрый и сердечный человек...

Пользуясь моментом, я внимательно рассмотрел
обеих.

Обе они были высокие, стройные. Нелидова, более
рослая, с высокой грудью и тонкой талией, казалась
сильней и крепче своей подруги. Обе они были в вы-
цветших солдатских гимнастерках с накладными кар-
манами на груди. Широкие ремни, туго перетягиваю-
щие талию, еще более подчеркивали стройность бедер.
Такие же выцветшие юбки до колен, грубые кирзовые
сапоги. Но все женское кокетство наших новеньких
бойцов проявлялось в том, как они носили пилотки:
этот простой головной убор они носили с таким изяще-
ством, как парижанки — свои модные шляпки.

Рядовая Тоня Веремеева была жгучая брюнетка с
черными, как вороново крыло, вьющимися волосами и
черными же глазами на нежном белокожем лице.

Сержант Марина Нелидова — матово-смуглая ша-
тенка с голубыми глазами. Но несмотря на эту разни-
цу, что-то неуловимое делало их похожими друг на
друга. Видимо, одинаковые условия жизни придают
женщинам больше сходства друг с другом, чем мужчи-
нам (возможно, в том-то и заключается основная сла-
бость «слабого пола»!).

Однако сержант Нелидова все же очень отличалась
от своей подруги. Гибкая, соколиной стати фигура ее
была такой стройной, такой скульптурно красивой, что
глаз не хотелось от нее отвести.

И лицом была она удивительно хороша. Правда,
чтобы оценить по достоинству внешность женщины, на-
до сравнить ее с другими женщинами, потому что в оди-
ночку каждая может показаться красивой. Но тут я был
уверен, что не ошибаюсь. Пышные волосы Нелидовой
были коротко подстрижены — «под мальчишку». Большие
голубые глаза обрамляли густые темные ресницы. Я так
залюбовался ею, что на Веремееву почти не обратил
внимания.

И если бы вы спросили меня, сколько времени мы
так простояли лицом к лицу, две девушки и четверо
мужчин — командир, комиссар, я и Шульженко, — я
не смог бы вам ответить. Голос комиссара отрезвил ме-
ня. Комиссар приветливо улыбнулся (что случалось не
часто) и мягко спросил:

— Какая у вас специальность, девушки?

— Мы, товарищ старший политрук, не девушки, а бойцы Красной Армии. У нас есть звание и фамилия, просим так к нам и обращаться, — не дрогнув бровью, обрезала комиссара Нелидова да еще и поглядела на него в упор.

— Ты смотри, а! — вырвалось у командира. Ему явно понравился ответ сержанта; он перестал сверлить девушек своим колючим взглядом. Глаза его из-под кустистых бровей смотрели мягче.

Степанов опешил от неожиданности, на лице его так и застыла приветливая улыбка.

— Как, разве слово «девушки» — оскорбительно? — как бы оправдываясь, проговорил он и торопливо добавил: — Ладно, оставим это, скажите пожалуйста, какая у вас специальность, чему и где вы обучались? — последние слова он произнес уже довольно сухо.

— Это все цветики, еще не то услышите, — пробурчал старшина и многозначительно поглядел на командира. По-видимому, он уже успел испытать на себе крутой нрав новичков.

Командир продолжал хранить молчание. Он только пристально смотрел на девушек, точно стремясь уяснить сейчас же, что они собой представляют и на что способны.

— Мы обе, товарищ старший политрук, дальномержицы. Закончили шестимесячные курсы в Ленинграде. Направили нас в ваше распоряжение. На фронте не были, в военных частях не служили, — спокойно, как ни в чем не бывало, словно не она сейчас отбрила комиссара, ответила Нелидова.

— Да-а, вот это уважили! Вот это — наградили! — так же вполголоса сказал старшина, только на этот раз девушки услышали его слова. Веремеева поежилась, а Нелидова вспыхнула, тряхнула головой.

— Это мы еще поглядим, — проговорила она как бы про себя, но достаточно громко и отчетливо.

— Чего поглядим? — обрел наконец дар речи командир.

— А кому какая награда будет, — так же отчетливо и смело, но сдержанней ответила Нелидова.

— Чего, чего, какие еще там награды? — прищурив один глаз, спросил комиссар.

— Военные награды, боевые, о каких других на-

градах можно сейчас говорить, — вступила черноглазая Веремеева, и на ее бледных щеках проступил румянец.

Капитан резко повернулся к нам и внимательно оглядел, как будто спрашивая, исчерпали ли мы свои вопросы или нет.

— То, что обе вы на язык бойки — сразу видно. А вот в бою на что горазды — это и вправду поглядим, завтрашний день покажет, — с некоторой угрозой сказал комиссар.

— Что это вы, товарищ комиссар, или запугать решили наших новичков? — с какой-то несвойственной ему улыбкой спросил командир.

— А я не пугаю! Я хочу только, чтобы товарищи бойцы, — комиссар особо выделил последние слова, — чтобы товарищи бойцы знали, что здесь бронепоезд, а не шестимесячные курсы дальномерщиков.

Он хотел еще что-то сказать, но командир прервал его. Этаким залихватским тоном, которого я никогда, пожалуй, за ним не замечал, он громко окликнул Шульженко:

— Старшина, ко мне!

Шульженко тотчас подскочил и встал перед ним навытяжку. Он по опыту знал: ежели капитан начинает приказы отдавать — держи ухо востро.

— Товарищ сержант Нелидова и рядовая Веремеева, когда вы ели в последний раз?

— Сегодня в шесть часов утра, товарищ капитан, — с нескрываемым удивлением ответила Нелидова.

— Старшина Шульженко, который сейчас час?

— Сейчас восемнадцать сорок, товарищ капитан!

— Значит, сколько времени эти люди не ели?

— Двенадцать часов, товарищ капитан, — упавшим голосом ответил старшина.

— Сколько километров вы прошли сегодня? — спросил капитан девушек.

— Двадцать пять, товарищ капитан, — ответила Веремеева.

Командир обернулся, поглядел на нас и, обращаясь к старшине, проговорил так, что у Шульженко, верно, все поджилки затряслись:

— Так вот, товарищ Шульженко! Запомните: бойца перво-наперво накормить надо, второе — своевре-

менный отдых ему нужен, а ты их с ходу на митинг кинул. Сперва напустил на них балагуров этих, — кивком головы указал на сновавших в отдалении бойцов, — а теперь мы их мучаем... Давай, товарищ старшина, отведи вновь прибывших куда следует, устрой их, покорми, пусть передохнут с дороги, а после уж потолкуем. — Он круто повернулся и направился к своему мостику.

Я посмотрел на Нелидову и Веремееву. Они провожали капитана таким благодарным взглядом, что мне даже завидно стало.

Я последовал за капитаном. Очень мне хотелось оглянуться, чтобы еще раз посмотреть на девушек, но я знал — этого делать нельзя, ведь из каждой щели за нами наблюдали зоркие глаза бойцов и отмечали каждое наше движение, каждый жест.

Ночь прошла мирно, немцы нас не беспокоили, однако никто на бронепоезде не сомкнул глаз.

Все мы, и солдаты, и командиры, были непривычно возбуждены.

Просто поразительно, как взволновало, как взбудоражило всех нас, независимо ни от возраста, ни от звания, появление этих двух девушек.

Мы, как правило, спали не раздеваясь. Мы просто валились на наши жесткие койки с тонкими соломенными тюфяками, изголовьем нам служили набитые соломой наволочки, и спали мы чутко, как зайцы. Да и не сон то был, а полусон, какая-то дрема. Так проходили дни, недели, месяцы...

Если ночь, точнее часть ночи, выдавалась спокойная, мы, командиры, все равно по нескольку раз вставали и обходили бронепоезд из конца в конец, проверяя, все ли в порядке. Так у нас было заведено.

Но в ту ночь каждый из нас вставал гораздо чаще, чем обычно.

Нам не спалось.

А капитан и вовсе не спал, все ходил и ходил взад-вперед и улегся уже под утро, а поднялся раньше всех.

Бойцы и младший комсостав нашего бронепоезда жили в обыкновенных товарных вагонах, приспособленных под жилье. В них были сделаны нары в два этажа, на которые более хозяйственные и расторопные по-

стелили соломенные тюфяки, а более беззаботные лежали на голых досках, застеленных байковыми одеялами, и укрывались шинелями.

Эти десять жилых и хозяйственных вагонов назывались «базой». Кроме жилых, были у нас и кухонный вагон, и склад, и мастерская. Единственный купейный вагон занимал командный состав. Здесь же был и красный уголок. Еще несколько вагонов приспособили под санчасть, склад боеприпасов и другие подсобные помещения.

В ту ночь на «базе» до утра слышался тихий шепот, приглушенные разговоры. Ребята рассказывали друг другу про свою жизнь. Речь шла преимущественно о женщинах. Бронепоезд походил на растревоженный пчелиный улей.

Бронепоезд-123 был довольно большим и несколько необычным: по существу, он являлся соединением полевого и зенитного бронепоездов. Он имел два паровоза (один из них бронированный), четыре больших бронированных вагона с полевыми пушками и пулеметами, четыре открытые боевые платформы с бронированными бортами для 76-миллиметровых зенитных пушек. Кроме того, были платформы для малокалиберных орудий, для крупнокалиберных пулеметов и находившаяся в центре состава командирская платформа с командным мостиком и прибором управления зенитным огнем — ПУАЗО.

Имелось и несколько аварийных платформ — это были обычные товарные платформы, груженные запасными рельсами и шпалами. Так называемая «база» имела собственный небольшой паровозик марки «ОВ».

По боеспособности и огневым возможностям бронепоезд-123 равнялся целому артиллерийскому дивизиону.

В ту пору база наша стояла на однопутной колежке, идущей через лес, а в некотором отдалении от базы, в лесу, на специально отведенной ветке стоял бронепоезд. Лес же был такой густой и высокий, что бронепоезд трудно было обнаружить не только с самолета, но и с земли, пока вплотную не подойдешь.

Жилые и хозяйственные вагоны мы искусно замаскировали ветками, так что разглядеть базу тоже было件 просто.

...Утром все поднялись раньше обычного. Выйдя из вагона, я сразу заметил, что народу перед бронепоездом собралось гораздо больше, чем всегда в такую пору, — все уже были на ногах и в ожидании завтрака. Многие беседовали, стоя небольшими группами, иные прогуливались вдоль состава.

«Ждут появления девушек», — подумал я. Созерцать женщину для мужчины всегда приятное занятие, даже и в фронтовых условиях.

Но наших дальномерщиц еще не было видно.

Вскоре показался врач. Это означало, что завтрак вот-вот начнется. Но увы! — в это время душераздирающе завывала сирена — тревога! Немцы, как правило, приурочивали свои налеты ко времени наших завтраков, обедов и ужинов.

Сразу все пришло в движение: бойцы бросились к боевым платформам, паровоз запыхтел, дула орудий начали медленно подниматься кверху, точно слоновьи хоботы.

Я сменя голову помчался к командирской платформе. Бежал и волновался, — а что если девушки не справятся, растеряются, не сумеют правильно определить высоту и дальность. Я не мог себе простить, что не показал им вчера же вечером их боевых мест, да и наставления никакого не дал. Правда, к тому времени и стемнело и очень уж уставшие они были, — я их пожалел. Вот так бывает с каждым отложенным делом, — с досадой думал я, считая секунды в ожидании дальномерщиц.

Гляжу — а они бегут, да как прытко! В каждом их движении чувствовалась физическая сила и спортивная тренированность. Бежали они не так скованно и неловко, еле отрывая ноги от земли, как большей частью свойственно женщинам, нет, это был хороший спортивный бег, но в то же время движения девушек были исполнены изящества и грации.

Чтобы оказаться на командирской платформе, где находились боевые места дальномерщиц, надо было подняться чуть не по полутораметровой железной лестнице, вертикально прикрепленной к бронированному борту боевой платформы. Нижняя ступенька лестницы была довольно высоко от земли и на нее надо было запрыгнуть, иначе не долезешь. Ступеньки из железных

прутьев толщиной с большой палец были коварные — поставишь ступню поглубже — больно стукнешься — верхнюю ступеньку, — у нас из-за этого синяки. Присадины не переводились, — а поставишь ногу неглубоко — туловище невольно оттягивается назад и подниматься становится еще труднее. По этой крутой и неудобной лестнице тяжело было взбираться даже нам, мужчинам, а женщинам и подавно — юбка-то мешает.

Гляжу, девушки ускорили бег, как перед финишем, Нелидова вырвалась вперед и со всего разбегу как вскочит на первую ступеньку, да так ловко, сноровисто, раз — и взбежала по крутой лесенке. Можно было подумать, она всю жизнь только в таких упражнениях и тренировалась. С наименьшей ловкостью и проворством поднялась и Веремева.

Я поспешил к ним, чтобы помочь разобраться, но прежде чем я успел что-нибудь сказать, обе оказались на своих местах, привычными движениями привели в порядок прибор, и Нелидова моментально доложила: «Дальномер готов!». Все это для нашего бронепоезда было необычно и ново: предшественник наших новичков не успевал вовремя забраться на платформу, а на приведение в боевую готовность прибора затрачивал куда больше времени.

Бронепоезд между тем вышел на главный путь и мчался к станции. Мы имели несколько позиций. Одна из них находилась за станцией, на расстоянии нескольких километров.

Девушки усердно работали и во время движения поезда. Они вглядывались в горизонт, искали самолеты противника. Это тоже было ново: наш бывший дальномерщик во время движения поезда держал прибор в дорожном состоянии. «От сотрясения прибор разладится, в инструкции написано», — авторитетно заявлял он. Поэтому цель находили сперва другие — либо наблюдатели, либо бойцы, работающие с остальными оптическими приборами, и уже в самую последнюю очередь — дальномерщик, который все это время был бездеятелен, как сторонний наблюдатель.

Глядя на четкую, слаженную работу наших повичков, я невольно проникался добрым чувством к этим смелым девушкам и к тем, кто так хорошо под-

готовил не только их, но, наверное, еще многих и мно-
гих.

Не прошло и нескольких минут, как мы уже ста-
ли на боевой позиции и ожидали команды открыть
огонь. Платформы закрепили специальными тормозами,
чтобы сила отдачи не двигала их — ведь малейшее пе-
ремещение бронепоезда вызывает неточность попадания
снарядов в цель.

Я подошел к дальномеру. В поведении девушек не
было заметно ни малейшего волнения. Они прилежно
исполняли свои обязанности. Мы знали на горьком опы-
те, что стоит нам лишь открыть огонь по вражеским по-
зициям, тотчас же нас атакуют их самолеты.

— А вы не боитесь, что прибор может разладить-
ся, работая во время движения поезда? — спросил я.

— Во-первых, такой дальномер так легко не разла-
дится, а во-вторых, если даже это случится, мы-то здесь
на что? Сразу и паладим, — бойко ответила мне Нелидо-
ва и улыбнулась. Эта открытая белозубая улыбка при-
дала еще большее обаяние ее лицу.

В это время станции дальних наблюдений сообщи-
ли нам о приближении вражеской авиации. Дежурный
телефонист дважды повторил курс полета, предпола-
гаемую высоту, тип и количество бомбардировщиков.

Нелидова и Веремеева целиком погрузились в ра-
боту. Сержант уткнулась головой в резиновый ободок
окуляров и замерла. Я глазом моргнуть не успел, как
она крикнула «есть!», и Веремеева начала отсчитывать
расстояние.

— Тридцать шесть, тридцать пять, тридцать три! —
Это значило, что до цели было тридцать три километра.

Веремеева заметила, что два сержанта, работающих
на ПУАЗО, все еще не поймали цель, и продиктовала
им координаты.

У нас происходило всегда наоборот: бойцы на
ПУАЗО опережали дальномерщика и последний поль-
зовался их данными.

Искусство Нелидовой на самом пределе обнаружи-
вать самолеты противника и определять расстояние до
них поразило меня. Ничего подобного я не видывал.
Бывший наш дальномерщик ловил цель километров за
восемь—десять, и это было для него большим дости-
жением. А Нелидова поймала цель на расстоянии три-

дцати шести километров! Это значительно облегчало и улучшало работу синхронного электромеханического устройства и в то же время делало его режим работы ритмичным.

Невольно я глянул на командира. Он уже отдал необходимые приказы и теперь, удивленный не меньше моего, смотрел на дальномерщиц.

Он, видно, тоже никак не ожидал, что девушки умеют так слаженно и четко работать.

Комиссар тоже подошел совсем близко к дальномеру и с нескрываемым интересом наблюдал, как на счетчике менялись цифры. Мне кажется, он впервые обнаружил этот любопытный прибор.

Нелидова глаз не отрывала от окуляров дальмера, а Веремеева, после того как цель была поймана, называла для контроля круглые цифры километража.

Я снова вспомнил нашего бывшего дальномерщика, и как дрожал у него голос всякий раз, когда вражеский самолет приближался к нам!

Мы с капитаном уже довольно долго воевали на бронепоезде и потому понимали друг друга без слов. Я пришел на бронепоезд в августе 1941 года командиром батареи среднекалиберных пушек. А в октябре меня назначили заместителем командира бронепоезда. С того дня прошло всего около двух месяцев, но за это недолгое время я приобрел довольно солидный опыт. Работать с Балашовым было все равно что закончить еще одно военное училище.

— Курс ноль! — крикнула Веремеева. Это означало, что самолеты держат курс на бронепоезд.

Я посмотрел в бинокль. Прямо на нас, на высоте около двух с половиной километров, треугольником шли три «юнкерса». Необходимо было успеть сбить их с курса до того, как они начали бы пикирование, в противном случае никакая сила не заставила бы их изменить курс.

Балашов был прирожденным артиллеристом. Огнем на бронепоезде командовал он, а я контролировал работу электроаппаратуры и руководил маневрированием состава. Командир, держа у глаз бинокль, зорко наблюдал за «юнкерсами». Весь он напряжился, напрягся, точно изготовившийся к прыжку барс.

— Подпустив самолет на определенное расстояние,

Балашов дал команду в самый раз: бомбардировщикам оставалось совсем немного, чтобы перейти в пикирование.



Грянул первый залп, и перед «юнкерсами» взвились четыре белых облачка разорвавшихся дистанционных гранат. «Юнкерсы» продолжали идти по курсу. Пилоты были, видать, не из робких.

Но следующих два залпа, точных и своевременных, заставили их дрогнуть. Два «юнкерса», которые шли справа и слева от ведущей машины, отвалили слегка в сторону и начали пикировать раньше, чем следовало бы.

Ведущая машина продолжала упорно идти заданным курсом. Еще секунда — и она перейдет в пике. Но в этот миг грянул следующий залп, и «юнкерс», оказавшийся в трапеции четырех разорвавшихся гранат, сперва накренился на одно крыло, потом стремительно развернулся вправо и стал резко снижаться. Черный шлейф дыма тянулся за ним, мы видели, как он уходил к своим, беспорядочно сбрасывая бомбы, — самолет был поврежден основательно.

В это время два «юнкерса» уже вышли из пике и летели на малой высоте, один слева от нас, другой — справа. Командир прервал стрельбу прибором, перевел пушки на прямую наводку — по две на каждый бомбардировщик. После двух беглых выстрелов один из «юнкерсов» окутался густым черным дымом.

— Ур-ра-аа! — раздалось с командирской платформы.

Это сержант Лапин, швырнув кверху шапку, орал во всю глотку, за ним закричали и другие.

Нелидова и Веремеева отличились и на этот раз: когда боковые машины вышли из пике, девушки успели измерить расстояние до них, что было очень трудно и, действительно, требовало большого мастерства. Командиры орудий установили дистанционную шкалу гранат по их данным, и данные эти оказались идеально точными!..

Когда «юнкерс» окутался дымом, я посмотрел на Нелидову и Веремееву. Обе они, раскрасневшиеся, сверкающими глазами глядели на горевший самолет. Лица их светились радостью.

Нелидова почувствовала мой пристальный взгляд, обернулась и быстрым кокетливым движением откинула

волосы. Черт возьми, оказывается, женщина ^{этим слав-}остается женщиной даже на передовой!

Мне всем сердцем захотелось подойти к этим славным девушкам и поблагодарить их, но командир опередил меня: он спустился со своего мостика и молча пожал руки обеим. Тот, кто знал Балашова, не мог не понять, что этим он оказал девушкам великую честь.

Лицо его сияло, а такое случалось крайне редко. Я, например, давно не видел его таким.

Балашова, конечно, обрадовало и то, что нас поздравили из штаба со сбитым вражеским самолетом и добавили: «Уточняем сведения о втором, возможно, и он не доберется до своего аэродрома».

С того дня каждый из нас уже иными глазами смотрел на «наших девушек», как мы ласково их прозвали. Улетучилось то недоверие, та ирония, с которыми мы отнеслись к ним сначала. Мы убедились, что даже здесь, на бронепоезде, женщина может сражаться не хуже мужчины.

Когда мы спустились с платформы, комиссар поддел меня локтем в бок и сказал: «Вот не ожидал, что девки такую выдержку проявят. А ты?» — спросил он, испытующе глядя на меня.

Я улыбнулся и пожал плечами — и я, мол, не ожидал.

Прошло еще время, и поведение окружающих, их отношение к девушкам, как и мое собственное состояние, убедили меня в том, что в каждом из нас «что-то» произошло.

Если поначалу Нелидова и Веремеева были для нас лишь бабами, которых нам хочешь—не хочешь прислали, теперь у нас возникло какое-то возвышенное к ним отношение, и в то же время мы смотрели на них как на равных.

Страшное преображение произошло и с командиром: раза два я заметил, как он издали украдкой поглядывал на очаровательного сержанта, однако в обращении с ней был по обыкновению сдержан, требователен и беспристрастен.

Личный состав бронепоезда разделился надвое. Одну, сравнительно большую часть, составили поклонники Нелидовой, остальных, среди которых преобладали южане, пленила черноглазая, черноволосая Веремеева.

Девушки довольно скоро освоились на бронепоезде. В свободное время они уже не сидели, точно арестанты, в своем крохотном купе — отгороженной камерке одного из хозяйственных вагонов, — а гуляли, либо беседовали с ребятами.

Стоило появиться одной из них вне боевой платформы, тотчас собирались вокруг бойцы, затевались разговоры о том, о сем, начинались шутки, смех и разгоралось веселье... А уж сплясать с ними было особым счастьем, и наши ребята из кожи вои лезли, соперничая друг с другом, чтобы удостоиться этой чести. Но обе девушки оказались настолько обходительными, умными и тактичными, так просто и в то же время осмотрительно вели себя, что все вспыхивающие страсти сводились к шутке.

Доброму отношению к ним способствовало и то, что обе они умели быть хорошими товарищами. Пообвыкнув на новом месте, среди новых людей, они очень скоро превратились в заботливых хозяек бронепоезда. Их тесное купе стало похоже на мастерскую. Кому залатать, кому пригнать по росту и по фигуре гимнастерку, кому постирушку сделать, или отгладить что, — представьте, на бронепоезде даже утюг появился, — все это их нежные руки делали быстро и умело.

Никто не помнил, чтобы Нелидова или Веремеева отказали в какой-нибудь дружеской услуге. А для людей, выросших в труде и оторванных от их обычной трудовой жизни, трудолюбие является наивысшим достоинством; потому и полюбились, потому и завоевали всеобщее уважение эти две девушки.

Единственный человек, которого Нелидова и Веремеева явно невзлюбили, был старшина Шульженко. Шульженко мнил себя опытным доджуаном, не упускал случая похвалиться своими победами и тем, что сменил пять жен. Все его рассказы и истории сводились к тому, сколько дней и часов он затрачивал на то, чтобы, как он выражался, «приручить» ту или иную приглянувшуюся ему бабенку.

Видимо, старшина пожелал «приручить» и Нелидову с Веремеевой. Мне думается, что он даже попытался сделать это в тот первый день, когда его откомандировали за ними. Но не тут-то было: опростоволо-

сился, видать, наш Шульженко. С тех пор и невзлюбил его девушки. Их нелюбовь передалась всем на бронепоезде. А уж коли женщина кого невзлюбила — храни господь! Это чувство неудержимо и необоримо, оно растет точно лавина, и, как лавина, погубит того, на кого обращено!..

Бойцы, как я говорил, и прежде не испытывали симпатии к Шульженко, но теперь вовсе терпеть его не могли. Женщина обладает огромной силой, как никто может она настроить мужчину на свой лад, внушить ему свои чувства и мысли и заставить плясать под свою дудку. Если женщины когда-либо смогут прийти к единодушию (хотя бы к такому, на какое способны мужчины), то уж прощай, «слабость» женского пола и господство мужчин...

Что и говорить, не время было философствовать, но о чем только не думает человек на фронте в свободные минуты...

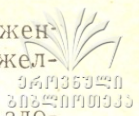
Четырехметровый дальномер был установлен на той же платформе, где во время боя находился и я. Поэтому поведение и работу девушек едва ли не лучше всех видел я. Надо признаться, что меня они просто поражали, поражали своим мужеством, выносливостью, выдержкой.

Бывали дни, когда Нелидова и Веремеева часами не отрывались от дальномера, сообщая нам безошибочные данные. А вокруг все горело и грохотало, гремели орудия, рвались бомбы и снаряды, лилась кровь... Наши девушки не знали усталости, казалось, они соревновались с мужчинами, и, представьте, во многом превосходили их.

Так пролетели три месяца. Тяжелейшими оказались они, эти месяцы. И «наши хозяйюшки», как мы называли девушек, вместе с нами стойко переносили все испытания.

В бесконечных боях мы потеряли очень много бойцов. Рядовой состав бронепоезда сильно поредел, изменился, добрую половину составляли новые бойцы, но не изменилось бережное отношение к «нашим девушкам». Словно по традиции, передавалось оно каждому, кто приходил на бронепоезд.

Как-то незаметно пришла весна...



Март принес солнечные дни. Снег таял. Обнаженные верхушки тополей чуть заметно окрасились в желтого-зеленоватый цвет.

Потеплело, хотя предутренний морозец все еще здорово прохватывал, а вечерами нельзя было не топить печей.

Когда окончательно установилась теплая погода, девушки попросили меня перевести их с базы на боевую платформу. «Нам трудно во время тревоги с базы на платформу поспевать», — сказали они. Просьба была необычная, на боевой платформе у нас еще никто никогда не жил, поэтому я обратился к командиру. Он сразу же дал свое согласие.

На железном полу платформы спать, конечно же, было невозможно, но девушки раздобыли где-то доски, нашлись среди ребят и охотники поплотничать, смастерили дощатый настил в одном углу платформы, укрепили брезентовый навес, и получилось что-то вроде шатра. Там девушки на ночь стелили постель, и таким образом они ни на минуту не оставляли своего боевого поста.

Обе они, и Нелидова, и Веремеева, были большие мастерицы песни петь. Пели они русские и украинские песни в два голоса, пели задушевно и сладко. Вскорости к их дуэту присоединились два бойца-украинца. У обоих были красивые сочные басы, и получился чудесный квартет.

По вечерам, когда выдавались перерывы между боями, на боевой платформе, которую после поселения там девушек прозвали «девичьей», устраивался настоящий концерт. И, конечно, все приходило сюда. Вокруг платформы начиналось настоящее гулянье, прямо как на людных городских проспектах в майские дни.

Наши ребята, плечистые, статные да ладные, возмужавшие в огне войны, глядели на «девичью» платформу такими глазами, будто сама дева Мария сошла туда с небес.

Тот период для нашего фронта был очень тяжелым.

Вторая ударная армия, перешедшая в наступление в районе Тосно и Любани, попала в окружение, и немецкие дивизии яростно атаквали ее поредевшие части.

Чтобы поддержать обессиленные, истаявшие в неравных боях соединения Второй армии и облегчить им

выход из окружения, наш бронепоезд выдвинули вперед. Мы должны были обеспечить артиллерийскую оборону коридора, по которому части ударной армии выбирались из окружения.

Узкий коридор этот проходил по заболоченной местности, и немцы, занимавшие высоты по обе его стороны, обстреливали его со всех точек. Наша артиллерия не могла туда дотянуться, а стрельба с дальних дистанций не приносила желаемых результатов. Поэтому боевые орудия не оказывали необходимой помощи ни тем частям, которые находились в окружении, ни тем, кто выбирался коридором.

Одной из малочисленных артиллерийских частей, которая могла передвигаться по железнодорожному полотну, проложенному близ коридора по эту сторону Волхова, и в нужный момент прикрывать огнем части Второй армии, — был наш бронепоезд.

Немцы легко разгадали наш замысел, поэтому их авиация и дальнебойная артиллерия не давали нам покоя. Дня не проходило, чтобы мы не потеряли нескольких человек. Личный состав бронепоезда таял, как свеча. В орудийных расчетах не хватало людей. Один боец выполнял обязанности двух, а то и трех номеров расчета.

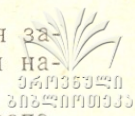
Это были страдные дни, когда мы не успевали ни поесть, ни побриться. То мы отбивали налеты авиации, то ставили заградительную огневую завесу, то посылали снаряды в невидимые нам наземные объекты.

За рекой Волхов находился наш наблюдательный пункт, где сидели командир первого огневого взвода, радист и два разведчика. Они сообщали нам координаты нужных объектов.

По несколько раз в день выходили мы на боевые позиции, чтобы обстреливать эти объекты. На каждую нашу атаку немцы отвечали контрударом то с воздуха, то артиллерийским огнем. В течение нескольких недель мы постоянно были «в положении номер один», то есть боевой тревоги, и не покидали боевых платформ, потому что не знали, когда, в какой момент потребуется наша помощь соединениям Второй армии.

А помощь требовалась немедленная и безотказная. Каждая секунда была дорога. Если бы враг перешел рубежи, которые мы прикрывали артиллерийским ог-

нем, стрелять уже не имело бы смысла. Малейшая задержка с нашей стороны могла стать роковой для наших передовых частей.



Вовремя открыть огонь — это наипервейшая заповедь артиллериста, и самое, казалось бы, незначительное нарушение ее — уже провинность, уже преступление. По этой-то причине мы круглые сутки проводили на платформах, либо ожидая сигнала открыть огонь, либо отражая натиск атакующих нас вражеских самолетов.

Тогда-то я и решил подыскать себе какую-нибудь книжку, чтобы в свободные минуты, которые хотя и редко, но все же случались, почитать ее. У одного бойца нашлась основательно истрепанная с отодранной обложкой книга — «Петр Первый» Алексея Толстого. Я попросил у него эту книгу, читанную еще в юности, и начал ее перечитывать.

Этот чудесный роман настолько меня увлек, что каждый раз я радовался окончанию боя в основном потому, что мог вернуться к чтению. Дочитав до конца, я стал перечитывать с начала. Эта книжка превратилась для меня в какой-то талисман. Мне почему-то верилось, что пока я буду ее читать, смерть не коснется меня. И я снова и снова ее перечитывал. Словом, за два месяца ожесточенных боев я успел прочитать ее несколько раз.

В один прекрасный день, пользуясь затишьем, сидел я на зеленом ящике из-под снарядов и, греясь в лучах закатного солнца, читал своего «Петра Первого».

Деревянные ящики все еще хранили тепло солнечных лучей, и я нежился, как старая кошка в зимний вечер у печки. Лето только начиналось, и короткий северный день еще не мог противостоять вечерней прохладе.

Безотчетно подняв голову, я увидел приближавшуюся Нелидову. Не знаю почему, но я опять уткнулся в книгу, делая вид, что увлечен чтением. Она поравнялась со мной, остановилась, задорно улыбнулась и, по-детски вытянув шею, заглянула в книгу. Тень ее упала на страницы, я поднял глаза, и наши взгляды встретились. Мне тогда показалось, что у нее голубые не только зрачки, но и белки.

— А-аа, Алексей Толстой! Мой любимый писатель, — опять улыбнувшись, проговорила она и вдруг вы-

прямилась, завела руки за спину, закинула голову, совсем как ученица у доски, и, устремив взгляд в небо, начала читать наизусть: «Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезали Яшка, Гаврилка и Артамошка; вдруг все захотели пить, — вскочили в темные сени вслед за облаком пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик».

Закончив абзац, она лукаво посмотрела на меня и весело рассмеялась.

Этот отрывок и я знал наизусть. Едва Нелидова закончила, я вскочил, тоже встал в позу ученика и продолжил:

«Чада прыгали с ноги на ногу, — все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и Артамошка в одних рубашках до пупка. — Дверь, оглашенные! — закричала мать из избы...»

Прочитав все, что помнил, я смолк, и тогда продолжила Нелидова.

«Мать стояла у печи. На шестке ярко загорелись лучины. Материно морщинистое лицо осветилось огнем. Страшнее всего блеснули из-под рваного платка исплаканные глаза, — как на иконе. Санька отчего-то забоялась, захлопнула дверь изо всей силы. Потом зачерпнула пахучую воду, хлебнула, укусила льдинку и дала напиток братикам...»

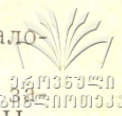
В глазах Нелидовой искрились смешинки, на лице играла улыбка, и вся она была такая обольстительная — глаз не отвести.

Дальше я наизусть не помнил и в знак своего поражения согнул палец и сел.

— Разрешите и мне присесть, товарищ старший лейтенант? — обратилась она ко мне, соблюдая армейский этикет.

Не знаю почему, но прежде чем ответить, я украдкой огляделся по сторонам.

Чего я стеснялся? Чего боялся? Может быть, военной дисциплины, субординации, которая не допускала панибратства между старшим и младшим, а может, виной тому была моя робость?.. Причем я и сам заметил,



что это мое движение было каким-то воровским, мало-душным.

Видимо, мешкая я все напортил, хотя, впрочем, мешательство мое было небезосновательным — по Нелидовой многие вздыхали, многие на нее заглядывались, и наше с ней сидение и дружеская беседа могли показаться подозрительными. Словом, так или иначе, а я испугался, как бы кто чего не подумал...

Тем не менее я отодвинулся к краешку ящика, освободил ей место и выговорил наконец: «присаживайтесь».

Но когда я поднял голову взглянуть на нее — Нелидовой передо мной уже не было: быстрым шагом удалялась она к своей платформе с брезентовым шатром.

Сердце у меня упало...

Мне стало стыдно...

Сожаление, острое и никогда прежде не испытанное, охватило все мое существо. Сожаление и досада.

В смятении я никак не мог решить, что мне делать: догнать ее сейчас и постараться продолжить разговор или ждать более удобного случая...

Я решил ждать.

Целые дни мы проводили вместе, на одной платформе, мой командный мостик находился в нескольких метрах от ее прибора, и в течение дня мне несколько раз приходилось подходить и говорить с ней — о деле, разумеется, — но все это было совсем другое! А ту простую человеческую беседу, не как с подчиненным, а как с равным, как с девушкой, которая мне нравилась, никак не удавалось завязать.

Порой мне так хотелось посидеть с ней, поглядеть на нее вблизи повнимательней, но страх, что кто-нибудь превратно истолкует мое поведение, удерживал меня...

Мы уже несколько месяцев работали вместе, но я только теперь понял, что до сих пор не знаю ее лица, не помню его и не заглядывал в ее глаза. Просто я знал, что она очень красивая, чувствовал, что она мне нравится, но если бы кто-нибудь спросил меня, какая она из себя, я не смог бы ответить.

Разговориться с ней еще раз мне удалось лишь много времени спустя. Бронепоезд тогда перебросили на северную железную дорогу.

Ехали мы преимущественно днем. До места назначения путь был далекий. Довольно большой отрезок его пролегал по глубокому тылу. Это была славящаяся своей красотой Валдайская возвышенность.

Бронепоезд мчался по холмистой, удивительно живописной местности. Густые леса, ярко-зеленые поля, сверкающие в солнечных лучах озера, медленные, черным зеркалом отсвечивающие реки — все это производило неповторимое впечатление.

Нелидова стояла, опираясь локтями о край бронированного борта, и глядела на уносившиеся вдаль пейзажи.

Странное чувство овладело мной: с одной стороны, сержант беспрекословно подчинялась мне как старшему по званию, но с другой стороны, я сам подчинялся ей (в чем я все больше убеждался). Я был в смятении, я не знал, как мне себя вести, как держать себя с ней — дать понять, что творится в моей душе, или нет?..

Я рискнул стать с ней рядом.

Она испуганно оглянулась на меня. Потом, вытянув руки по швам, с подчеркнутой почтительностью щелкнула каблуками.

Я сделал вид, что не заметил этого ее столь официального приветствия, и непринужденно облокотился на край борта, совсем так, как минуту назад облакачивалась она. Я ждал, что и она примет прежнюю позу, но сержант продолжала стоять навтыжку и задумчиво глядела вдаль.

Мне страстно хотелось разрушить стену воинской субординации, разделявшую нас, и почти безотчетно я проговорил:

— Вольно, сержант, что это вы стоите, словно кол проглотили?

Она грустно посмотрела на меня, слегка улыбнулась и по-прежнему облокотилась на край борта.

Я растерялся. Какая, однако, проклятая штука эта воинская субординация! Верно, Нелидова думает сейчас, что я, кроме как приказы отдавать, ничего не знаю и не понимаю. Может быть, и смеется надо мной в душе — вот, дескать, старший лейтенантишко, а пыжится что твой генерал. И не знает она того, что...

Я украдкой взглянул на нее.

Она стояла, подавшись всем корпусом вперед и опираясь на локти. От этого гимнастерка и юбка еще более подчеркивали скульптурность ее фигуры, ее стройные высокие бедра, сильные руки...

Сержант смотрела вдаль. Короткие волосы перебирал ветер. Глаза были слегка прищурены. Подставляя лицо встречному ветру, она чуть закинула назад голову, выставив твердо очерченный подбородок, словно старалась вдохнуть побольше воздуха.

Она представлялась мне сейчас олицетворением женственности и красоты.

Так она и запечатлелась навсегда в моей памяти: открытый высокий лоб, чуть вздернутый нос, резко очерченный подбородок — пожалуй, резче, чем следовало бы, — сочные коралловые губы.

Нелидова почувствовала мой пристальный взгляд. — Товарищ старший лейтенант, вы останетесь в армии, когда кончится война? — спросила вдруг она.

— Я пока не думал об этом. Вероятно, не останусь.

— Вы не думали о своем завтрашнем дне?

— По-настоящему не думал.

— Наверное, вы и мечтать не любите, считаете это занятием слабых людей, верно ведь?

— Мечтать — это прекрасно, но жизнь моя складывалась таким образом, что мне как-то недосуг было мечтать.

— А разве для того, чтобы мечтать, нужен досуг? Это врожденное свойство человека, его натуры.

— Но к чему, зачем мечтать?

Нелидова удивленно посмотрела на меня.

— Старший лейтенант, мне вас жаль! — медленно проговорила она и деланно рассмеялась.

Правда, это «старший лейтенант» прозвучало несколько фамильярно, следовало бы сказать «товарищ старший лейтенант», однако ее вольность меня не только не обидела, а наоборот, обрадовала.

— А вы-то сами мечтаете? — спросил я.

— Разумеется! Я всегда мечтаю. Все время, каждую минуту! Я не представляю себе, как можно жить без мечты!

— Какую же пользу вы в этом находите?

— То есть как это какую? — она растопырила ладонь и начала считать, загибая пальцы: — Мечта ук-

рашает мне жизнь, помогает преодолевать всякие трудности, дает веру в будущее и стремление к завтрашнему дню... разве этого мало?

— Все это одни красивые слова, общие слова, заученные с детства.

— Что значит «общие слова»? Всякое слово общее. Вы хотите сказать — беспредметные, бессодержательные слова? Лишние слова, что ли?

— Ну да, да, это все равно.

Она опять с удивлением посмотрела на меня, опять рассмеялась, а потом спросила с нескрываемым разочарованием:

— Вы и вправду так думаете или шутите?

— Нет, я не шучу. Я уважаю мысль, но не мечту. Мысль — серьезную, деловую, имеющую почву под собой, опирающуюся на реальную действительность. А мечта — одни призраки, пустые видения. Она обманчива, она показывает тебе то, чего у тебя нет и никогда не будет.

Нелидова поглядела на меня очень серьезно и внимательно. На этот раз она уже не засмеялась...

Я тоже глядел на нее. Наши глаза встретились, и я внутренне содрогнулся: в ее взоре я более не увидел того тепла и интереса, какие были всего несколько минут назад.

Она молчала. Опять, как и давеча, подставила лицо встречному ветру. Я понял, что она не настроена продолжать разговор.

Меня охватил страх — я чувствовал, что что-то теряю.

И наверное потому захотел заставить ее продолжить наш разговор.

— Так о чем все же вы мечтаете?

— Как это о чем? Обо всем, о том, что мне хотелось бы сделать или иметь, что приятно и желанно.

— А больше всего о чем, если не секрет?

— Больше всего? — она сперва задумалась, потом решительно, будто сейчас вот найдя ответ, сказала: — Пожалуй, о своей профессии.

— А еще? — с напускной многозначительностью спросил я.

— Еще? — Нелидова пожалала плечами. — Еще об очень многом: о будущем, о счастье, о любви, — это

слово ее вроде бы смутило, но произнесла она его твердо и отчетливо. — Да и сама не знаю, о чем еще!

— Вот вы говорили о профессии. У вас уже профессия или...

— Еще нет, но скоро будет. Я перешла на четвертый курс пединститута, буду учительницей.

— Учительницей? — удивился я.

— Вы удивляетесь? Но почему? — спросила она и я почувствовал обиду в ее интонации.

— Н-не знаю... — сейчас мне и самому показалось непонятным мое удивление.

— В том-то и все горе! Самую благородную, самую необходимую, самую трудную профессию мы считаем неинтересной и вроде даже никчемной. Гонимся за всякими модными специальностями, которые могут быстро привести к славе, к известности, а то, что так насущно, так остро необходимо, мало кого беспокоит. Когда студенты оканчивают институт, тех, кто лучше себя проявил, оставляют в аспирантуре, менее достойных, менее знающих направляют в школу! Представьте, этим последним хватает нахальства быть педагогами, учительствовать, преподавать! Им самим невдомек, какое зло они совершают... И если никто этим не займется, в скором будущем у нас будут всевозможные специалисты — и математики, и физики, и инженеры, и не знаю еще кто, а вот настоящих людей не станет, человечности не станет, потому что основу ее закладывает школа.

Нелидова с таким увлечением говорила о школе, о воспитании, о педагогах, о подходе к детям, что я слушал ее и дивился. Меня поражало, как не погасили в ней этого жара, этой увлеченности все испытания и тяготы фронта, постоянная опасность смерти?

И ночью, когда я лежал на своей жесткой койке, в одежде, которую, казалось, мне никогда уж не снять, я снова и снова думал о словах Нелидовой.

И вправду было удивительно: с первого дня войны не раз вспоминалась мне школа, мои одноклассники, педагоги, но никогда не размышлял, не думал я о нуждах и заботах школьного обучения, никогда не волновало меня то, о чем так печалилась и волновалась эта замечательная девушка.

Она сражается на фронте — и в то же время заботится о делах мирной жизни, думал я. При этом первое делает не хуже моего, а во втором разбирается лучше меня. Поди и говори после этого, что она женщина, слабое создание, а я — мужчина, сильный пол.

Не знаю почему, но я испытывал угрызения совести. Мне казалось, что я проглядел, упустил что-то важное, не проявил нужного внимания и чуткости.

Так бывает, когда встретишься с человеком богатой души и не сможешь оказаться на нужной высоте. И тогда ты сам себе кажешься маленьким, никудышным, и чувство неудовлетворенности и недовольства собой грызет, точит тебя, как червь...

Но случались и такие минуты, когда и Нелидова, и Веремеева оказывались не в силах превозмочь свою чисто женскую слабость. Однажды, когда орудийные расчеты находились на политинформации, я услышал какие-то странные звуки, доносившиеся с той стороны, где был «шатер» наших девушек. Тихонечко подошел я поближе и прислушался. Кто-то горько плакал — взахлеб, как ребенок.

Любопытство одолело меня, я приподнял край брезента и увидел поразительную картину: Нелидова и Веремеева, сидя рядышком и обнимая друг друга одной рукой за плечи, раскачивались из стороны в сторону и рыдали навзрыд.

Что-то дрогнуло и оборвалось у меня в сердце.

Меня охватила такая острая жалость к этим девушкам, оторванным от родного очага, будто обе они были мне родными сестрами или дочерьми.

«С чего это они? Почему?..» — с болью думал я, не находя никакой видимой причины для горьких слез.

Я так же незаметно отошел и остановился неподалеку. Мне не терпелось узнать, что же случилось.

Прошло немного времени, и девушки вышли из своего обиталища.

Двигались они медленнее, чем обычно, и как-то неуверенно. Одернули гимнастерки, опасливо огляделись вокруг и, заметив меня, смутились.

Веремеева бросилась к лесенке и торопливо спустилась с платформы. Нелидова, которая вообще была намного смелее своей подруги, тоже хотела спуститься,

но, заметив, что я направляюсь к ней, передумала, остановилась и подождала меня.

Глаза у нее были красные, веки опухли.

— Почему вы плакали? — в упор спросил я ее. Она могла счесть такой вопрос дерзостью, несмотря на мое старшинство, если бы не мой голос — я не мог скрыть участия.

Нелидова улыбнулась, как напроказивший ребенок, которого застали «на месте преступления», отерла глаза ладонями и глухо проговорила:

— Да так, просто... Тоска, видно, заела, вот и заплакали. Вы ведь знаете, слезы нам, женщинам, приносят облегчение.

— Беспричинные слезы?

— Иногда и беспричинные, а то и по причине. Причину-то искать недолго, — и она опять смущенно улыбнулась.

— В этом отношении вам легче, чем нам, мужчинам, — хотя бы душу облегчить можете, — сказал я, пытаюсь немного развеселить сержанта.

— Душу облегчить только надежда может, — возразила она.

— Потому-то никогда и не следует терять надежду, — посоветовал я.

— Знаете, вот мы тогда говорили с вами о мечте, — раздумчиво начала она, — а я думаю, что именно мечта и есть источник надежды...

— Нет, я так не думаю. По-моему, мечтают как раз те, кому не хватает надежды. Надежда вооружает тебя, вдохновляет, дает энергию, а мечта — это дремота разума.

— Но зато обманутая надежда рождает сожаление и боль, а мечта, пусть даже несбыточная, напротив, успокаивает, утешает...

— Да, но ведь мы приходим на этот свет не утешаться и успокаиваться. Пусть сожаление горько, зато полезно: ведь сожалешь не о том, что ты сделал хорошего и правильного, сожалешь о своих ошибках, и очень часто именно оно, сожаление, толкает на поиски лучшего, поэтому нередко оно несет с собой благо...

Сержант молчала некоторое время. Видно, обдумывала мои слова. Потом, как бы добавляя к тому, что я сказал, произнесла очень серьезным тоном:



— И оно непреложно. Не помню уж, где я вычитала удивительные слова, прямо как предсказание: «И тебя настигнет пора сожаления!..»

— Да, увы, рано или поздно она всех нас настигнет, — согласился я.

— «И тебя настигнет пора сожаления...» Ну-ка, вдумайтесь, какой мудрый и в то же время страшный смысл заключен в этих словах! Мне кажется, что это и есть самое ужасное проклятие.

В это время зазвонил колокол: нас звали к ужину. Пожалуй, мы оба вздохнули с облегчением, — ведь трудная беседа утомляет. И еще я подумал: когда между мужчиной и женщиной начинаются умные разговоры, значит, чувства молчат.

«Мы разошлись, так и не подружившись», — думал я. А ее слова — «и тебя настигнет пора сожаления» — не выходили у меня из головы. Эта пора для меня уже настала...

Я не смог умолчать о том, что наши девушки плакали, и в тот же вечер рассказал все командиру. Видимо, мною двигало подсознательное желание пробудить в командире больше сочувствия к девушкам.

Как всегда, молчаливый и сумрачный Балашов выслушал мой рассказ, насупив брови. Но я заметил, что впечатление я произвел гораздо более сильное, чем ожидал.

Сперва он молча и сосредоточенно свертывал самокрутку, потом раскашлялся и кашлял долго, потом долго растирал носком рваного сапога упавшую на землю щепоть табака и в конце концов ласково похлопал меня по плечу своей огромной волосатой рукой, глядя при этом не на меня, а куда-то вдаль.

— Ты представь на минуту, — заговорил он, — как тяжело девушкам-то! Женщина рождается на свет не для войн и сражений, — для любви, для мира, она создана для семьи. А они? Не успели опереться, бедняжки, как попали в самое пекло войны. Ты подумай только, какое кровавое молотило ходит над их головой, шутка ли! Нелегко, брат, нелегко все это им выдерживать...

Задумчиво, с сожалением покачал он головой и вдруг резко, словно ожегшись, отнял руку от моего пле-



ча. С минуту стоял неподвижно, потом оправил на себе ватник и отошел от меня молча, с опущенной головой.

Шли дни за днями. Девушки стали душой всего нашего бронепоезда, все мы только на них и глядели: если они были в хорошем настроении, все улыбались, если они были грустны, грустили все.

По-прежнему в свободные минуты пелись песни, затевались пляски. И Нелидова, и Веремеева были отличными плясуньями. У каждой был свой конек, свой коронный танец: у Нелидовой — «казачок» и «камаринская», а у Веремеевой — «барыня».

Когда Веремеева, сложив руки на груди и чуть склонив набок чернявую головку, постукивая каблуками, плавно и грациозно двигалась в танце, зрители поднимали такой крик, так топали сапожищами в знак восторга и одобрения, что оглохнуть можно было.

Знали мы, что не у одного парня сердце замирало при виде Веремеевой. Например, лейтенант Ибряев, красавец парень — жаль, правда, ростом был невысок, — едва завидит Веремееву, краснеет, бледнеет, ну обмирает да и только. Нужно — не нужно он все время торчал на своей платформе, чтобы не встретиться, не столкнуться, не дай бог, с Веремеевой лицом к лицу.

Однако знали мы и то, что ни один боец, ни один командир бронепоезда не позволил себе посмотреть на девушек нечистыми глазами, ни у одного не промелькнуло грязной мысли по отношению к ним. Быть может, где-то в темном тайнике души у кого-то и пряталась такая мысль, но верно даже самому себе никто бы в том не признался.

Честь наших красавиц свято блюли мы все, и не для показа, не для проформы какой, — нет, это было велением сердца, мы даже будто соперничали в этом друг с другом, порой настороженно присматриваясь друг к другу и незаметно, почти и для себя незаметно, исподволь совестили и вразумляли друг друга.

Зачин такому настрою положил сам командир.

Человек удивительного самообладания и выдержки, Балашов ни разу ни словом, ни делом не дал почувствовать никому — и в первую очередь самим девушкам, — что он, командир, смотрит на них как мужчина. Зато заботился он о них вдвое больше, чем все мы остальные.

Балашов обладал великолепной памятью. Еще до прибытия к нам девушек ознакомился он со специальным приказом Верховного главнокомандующего, в котором давались подробнейшие указания насчет того, что следовало предпринять в каждой военной части, где находились женщины, как создать им соответствующие условия.

Вот когда настали черные дни для нашего старшины! Командир с него три шкуры спустил, пока добился выполнения всех параграфов приказа. Он заставил соорудить для девушек отдельный умывальник, отгородить для них купе, раздобыть где-то сносное зеркало, обеспечить их всеми необходимыми мелочами, достать им мягкие тюфяки и черт знает что еще. И все это происходило в период ожесточенных боев, когда мы едва успевали поесть, впрочем, к слову сказать, и аппетита-то ни у кого из нас не было от сильного нервного напряжения.

Невезучий человек был капитан Балашов. Редкий знаток своего дела, сведущий и опытный артиллерист, мужественный, смекалистый, находчивый командир, — по всем статьям ему бы не бронепоездом командовать, а по крайней мере артиллерийским полком. Батарея, которой он командовал в начале войны, тогда же отличилась настолько, что Балашов получил орден Боевого Красного Знамени. Но вслед за тем он был тяжело ранен и только в сентябре смог вновь попасть на фронт. Тогда и назначили его командиром бронепоезда-123.

Тогда же, в начале войны, в одном из пограничных городков, во время бомбежки погибли жена и двое детей Балашова. С тех пор капитан страдал нервным тиком, вследствие чего он постоянно моргал глазами. Горе сделало его угрюмым, он разучился смеяться, почти никогда сам не вступал в беседы, словом, замкнулся в себе. Не мог он заглушить свою боль — рана была слишком свежа и продолжала кровоточить.

Капитану было сорок шесть лет, но выглядел он много старше. Под глазами — мешки, волосы хотя и густые, а почти сплошь седые, лоб изборожден глубокими морщинами.

В свободные часы он запирался в своем тесном купе, усаживался на единственный стул и изучал фотографии, которые висели перед ним на стене. Их было

три: на одной из них была запечатлена молодая женщина в летнем платье с коромыслом через плечо. Женщина беззаботно смеялась. По обе стороны от нее висели фотографии ребятишек, до удивления похожих на Балашова. Два кудрявых карапуза, плутовски улыбаясь, смотрели со стены.

Когда капитан сидел вот так перед фотографиями (в это время лицо его дергалось сильнее обычного и моргал он глазами особенно часто), все мы избегали входить к нему. Чем тише бывало на фронте, тем чаще запирался он у себя. Мысли его витали далеко-далеко отсюда, с теми, кого капитану никогда уже больше не увидеть.

К появлению на бронепоезде женщины Балашов отнесся с мрачной настороженностью. Однако проходили дни за днями, и лед, сковавший сердце нашего командира, медленно таял.


Я уже, кажется, говорил, что раза два заметил, как он украдкой любовался Нелидовой.

Удивительным был тогда его взгляд. Было в нем одновременно и что-то отеческое — так отец с удивлением и радостью созерцает любимую дочь, незаметно и вроде бы неожиданно превратившуюся в девушку. Была и та чистота, с которой юноша глядит на свою избранницу, впервые взволновавшую его кровь. Был в его взгляде и тот безнадежный восторг, с которым смотрит зрелый мужчина на безудержно влекущую его, но, увы, недосыгаемую женщину.

Мне казалось, что капитана снедает неодолимое желание быть рядом с Нелидовой, беседовать с ней, но ему неловко остаться с ней наедине. Потому он все время был настороже: увидит, бывало, что с Нелидовой кто-нибудь разговаривает, тотчас подойдет, присоединится к беседе.

Высокий, плечистый, но чуть-чуть сутулящийся, с серебристой львиной гривой, с большими грустными глазами, Балашов, несмотря на незаурядную физическую силу, сквозившую во всем его облике, вызывал к себе какую-то смутную, неясную жалость, — вероятно, из-за того глубокого горя, превозмочь или хотя бы скрыть которое он был не в состоянии.

Таким был Балашов в минуты затишья. Но как только начиналась тревога, капитан преображался до



неузнаваемости. Трудно было поверить, что этот стрепителный, энергичный, решительный и суровый командир с твердым взглядом горящих глаз, громовым голосом отдающий команды, и тот меланхоличный, немногословный человек, размеренным шагом расхаживающий вдоль бронепоезда, либо часами сидящий в скорбной задумчивости в своем купе, — одно и то же лицо...

...Женщина, которую не любит ни один мужчина, за которой никто не ухаживает, на которую никто не заглядывается, женщина, не знающая мужского участия в своей судьбе, — пусть даже участия, вызванного не чувством любви, а какими-либо деловыми отношениями, — такая женщина глубоко одинока и, естественно, вызывает к себе жалость.

Опасность подобной участи сделала женщин провидицами, выработала в них поразительное чутье: они не только безошибочно чувствуют, кому, как и почему нравятся, но умеют определить силу, с которой их любят, — а этим даром не обладает ни один мужчина.

Очевидно, и Нелидова почувствовала, что кроме той безысходной боли, капитана теперь сжигает другой огонь.

Недели через две я увидел их вдвоем. Сержант и капитан о чем-то беседовали. В их позах, в облике каждого из них было что-то детское, они напоминали школьников, подростков, которые, встретившись вдруг и ощутив в себе что-то новое, необыкновенно волнующее и тайное, робеют друг перед другом.

Видимо, духовная чистота капитана магнитом притягивала Нелидову.

...Между тем на бронепоезд все чаще приходили письма с дурными вестями. Большинство наших солдат и офицеров были ленинградцы, потому письма из дому они получали сравнительно быстро, — ведь Ленинград от нас находился довольно близко.

Первая зима и первая весна блокады оказались самыми тяжелыми. Ребята не успевали оплакивать родных и близких, которые погибали от голода в блокадном городе.

Однажды утром, когда разнесли почту, Веремеева выронила из рук полученное письмо и, разрыдавшись, закрывая лицо руками, побежала к себе.

Мы без слов поняли причину. Поняли и то, что утешения бессильны и потому неуместны. Оказалось, что мать и две меньшие сестренки Веремеевой умерли от голода...

А немного погодя и Нелидова получила скорбное известие: единственный брат ее, командир-подводник, героически погиб близ Мурманска.

И тем не менее, среди множества тяжелых, черных дней выпадали и радостные. Таким был тот незабываемый вечер, когда наш бронепоезд, поставив завесу заградительного огня, перерезал путь батальонам врага, атакующим части Второй ударной армии, из последних сил выбиравшиеся из окружения. Я помню, как командир одного из полков поочередно расцеловал каждого из нас... А что может сравниться с простой солдатской благодарностью!..

Радостным был и день, когда мы сбили один за другим три фашистских самолета и начальник штаба артиллерии фронта, седой генерал, раздал нам награды. В тот день генерал приколот к выцветшей гимнастерке Нелидовой медаль «За отвагу».

И когда повенская медаль заблестала на груди девушки, пожилой седоголовый генерал перед всем строем расцеловал мужественного сержанта. Это был, наверное, первый и последний поцелуй в жизни Нелидовой...

В тот самый день, уважив наши боевые заслуги, нам выделили железнодорожную дрезину, полуторатонку типа «Газ» с застекленной кабиной. У нее были съемные колеса: для передвижения по железнодорожному полотну — железнодорожные, а для езды по обычной дороге — автомобильные с резиновыми покрышками.

Дрезина здорово облегчила бы нам существование: мы перевозили бы на ней и продукты, и боеприпасы, и не отцепляли бы от состава паровоз, что было довольно хлопотным и опасным делом.

Во время распутицы, в непогоду дрезина была бы просто спасением. Доедешь до нужной станции по железнодорожному полотну, потом поставишь автомобильные колеса и кати себе, куда душе угодно! Как загрузишь дрезину, так и ездай до самого бронепоезда, ни разгружать, ни перетаскивать груз с транспорта на транспорт, ничего не нужно было.

Но еще до того, как получить эту чудо-машину, мы были озабочены не на шутку. Дело в том, что для дрезины, как известно, требовался водитель, шофер, экипаж автомобильного дела. А такого среди нас вроде никого и не было. Начали мы опрашивать людей, может статься, кто-то когда-то работал шофером, но никого не нашлось. О том, чтобы сейчас специально готовить человека, — и думать было смешно. Искать шофера где-то в других частях тоже было нереально, — фронт испытывал острую нехватку людей, нередко даже в артиллерийских расчетах номера пустовали и командиры ставили к орудиям бойцов из хозяйственного и транспортного отделений. Как видите, думать в такой ситуации о шофере было пустой мечтой.

А со станции Окуловка одна за другой приходили телефонограммы: забирайте дрезину, не то другим отдадим.

Мы — командир, комиссар, железнодорожный техник-лейтенант Сиражутдинов и я — как раз обсуждали этот вопрос, когда к нам неожиданно подошла Нелидова и попросила у командира разрешения о чем-то доложить.

— Говорите, — оживившись, сказал капитан.

В последнее время нашему Кузьме Грозному (так мы за глаза прозвали Кузьму Матвеевича Балашова) изменяло его самообладание, и усилия скрывать все возраставшее чувство к Нелидовой нередко оказывались тщетными.

При виде сержанта Балашов краснел, как маков цвет, и из неразговорчивого бирюка превращался в приветливого, словоохотливого и веселого человека. И к тому же становился необычайно вежливым.

— Товарищ капитан, я слышала, вы ищете шофера?

— Нужен, нужен нам шофер, но вы-то причем?

— Я окончила шоферские курсы при институтском автомотоклубе. Машину водить умею хорошо, — она расстегнула нагрудный карман и, вынув свое шоферское удостоверение, протянула его капитану.

Балашов внимательно прочитал удостоверение, повертел его в руках и с нескрываемым восхищением произнес:

— Ай да Нелидова! Всем девушкам девушка! Вот бы нам на бронепоезд еще парочку таких, а!

— И на фронте, и дома, верно? — неуместно со-
стрил командир транспортного взвода и вдруг, встре-
тившись с суровым, гневным взглядом Нелидовой, об-
ся.

— Товарищ старший лейтенант Сиражутдинов, —
заговорил капитан, и в его голосе зазвучал металл, —
давайте-ка пишите доверенность на Нелидову, кроме
нее никто не сможет сделать это дело.

Комвзвода, поняв, что дал маху, посерьезнел боль-
ше, чем нужно.

Печать и все документы бронепоезда хранились у
комиссара. Порывшись в кармане, он с таким видом
извлек оттуда печать, ввинченную в круглый, желтой
меди футляр, словно это был револьвер, и обратился
к Нелидовой:

— Что же, следуйте за мной, товарищ сержант.

Это произошло утром.

Мы отправили Нелидову с двумя опытными бой-
цами в депо станции Окуловка, а в дальномерной буд-
ке осталась одна Веремеева.

Завечерело. Посланные все не возвращались. Ко-
мандир явно волновался. Наступила полночь, а Не-
лидовой с ее сопровождающими все не было.

Мы вышли на боевые позиции, отстрелялись, а их
все не было. Когда мы возвратились обратно на запас-
ную позицию, командир сошел с бронепоезда и до утра
шагал взад-вперед. Так за всю ночь он и не сомкнул
глаз.

Стало светать, и тут разведчик, стоявший на по-
следней платформе, громко крикнул:

— По полотну что-то катится! Похоже на коробку,
не разгляжу, что такое!..

Разведчик не успел закончить фразы, как командир
вскочил на платформу, выхватил бинокль и застыл.

— Едут! — вырвалось у него чуть не вздохом.

А потом стал спускаться с платформы, да так спо-
койно, будто ничего и не произошло, будто и не он ша-
гал всю ночь до рассвета.

Вскоре «коробка» докатилась до бронепоезда. Это
и была наша дрезина.

Нелидова выглядела оживленной и довольной.
Она с увлечением рассказывала о достоинствах маши-



ны, подробно отвечала на вопросы, которые задавали ей собравшиеся вокруг бойцы.

Капитан хмуро слушал объяснения сержанта. Я удивился: никакой радости он не проявлял, наоборот, казался мрачнее обычного.

Утром командир поднялся на мой мостик (наши мостики находились друг против друга). Такое случалось не часто: Балашов не любил покидать свою «башню» с четырьмя ступеньками.

— Боюсь, что одному человеку не управиться и с дрезинной, и с дальномером, — заговорил капитан. — А нам хороший дальномерщик больше нужен. Поэтому подберите бойца посмышленней, который бы техникой интересовался, и прикрепите его к Нелидовой, пусть она научит его водить дрезину. Приступайте немедленно. Бойца берите любого, независимо от его номера, пусть хоть заряжающий, все равно...

Долго искал я кандидата на должность водителя дрезины, но никого не мог подобрать. Перебрал все подразделения, несколько раз перечитал список личного состава бронепоезда и ни на ком не остановился. Правда, несколько человек я бы мог порекомендовать, но за них вступились их командиры, которые ни за что не хотели уступить их нам.

К концу второго дня ко мне снова поднялся Балашов и устремил на меня довольно сердитый взгляд своих карих глаз.

— Подобрали?

— Пока нет, товарищ капитан.

— Что ж вы, в генералы его прочтите, что ли? Шюффера не можете подыскать? — строго сказал он и погодя добавил безапелляционным тоном: — Завтра утром назовите мне кандидатуру.

«Жалееет Нелидову», — ревниво подумал я, и невольно в мое отношение к капитану вкралась легкая неприязнь.

Чем больше думал я о подозрительном нетерпении Балашова, тем сильнее было мое недовольство им. Не стыдно ему руководствоваться в делах личными симпатиями и антипатиями? Разве командир имеет право быть таким необъективным?

— Противоречивые мысли мучили меня. То я приходил к выводу, что Балашов абсолютно прав, — действи-

тельно, нельзя же взваливать на одного человека столь сложные обязанности! В следующую же минуту я начинал изобличать капитана в его пристрастии и бивал его ореол непогрешимости.

Однако мне и самому жаль было Нелидову. Очень уж тяжелое бремя легло на девичьи плечи. Весь день она неотлучно находилась на посту у своего прибора, а ночью ее ждала не менее трудная работа: до рассвета она гоняла дрезину. Как назло, и погода стояла плохая, только на дрезине и можно было возить продукты и боеприпасы.

С наступлением темноты Нелидова отправлялась за восемьдесят километров на железнодорожную станцию и к рассвету возвращалась с грузом. Правда, мы обычно отправляли с ней троих бойцов, помощников, но ее работа от этого не становилась легче.

Наконец, я подобрал-таки кандидата в шоферы, и мы прикрепили его к Нелидовой. Однако для того, чтобы хоть элементарно обучить его делу, требовалось хотя бы четыре-пять дней, а где их было взять? Свободного времени мы теперь почти не имели. То мы выходили в боевые рейды, то на месте отбивали атаку авиации, и Нелидова зачастую по целым дням не покидала боевой платформы.

Так пролетело еще несколько дней.

Нелидова очень изменилась: похудела, побледнела, под глазами залегли черные круги, щеки запали.

Но в остальном это была прежняя Нелидова: держалась так же бодро, казалась такой же веселой и приветливой.

Эта удивительная девушка ни разу не попыталась компенсировать свое положение хоть какими-то льготами или привилегиями, нет — все только наравне со всеми. Это еще больше поднимало ее в наших глазах. «Кузьма Грозный», теперь уже не стесняясь, открыто говорил, что Марина Нелидова — лучший боец бронепоезда.

В нашем районе действовало два бронепоезда: наш—123 и соседний с нами—122. Однажды утром мы узнали горестную весть: бронепоезд-122 взорвали фашисты. Погибло множество людей, бронепоезд вышел из строя.

Вероятно, по этой причине в тот день нас не направ-

вили на операцию, и выход в боевой рейд был отложен до сумерек.

Капитан воспользовался передышкой и послал рочного к пострадавшим, чтобы получить более обстоятельные сведения.

Вскоре мы узнали все подробно. Дело было так: когда огневые рейды наших бронепоездов основательно издергали немцев и они убедились, что ни артиллерийским огнем, ни авианалетами вывести нас из строя не удастся, они решили прибегнуть к хитрости. Местность, по которой пролегал железная дорога, имела небольшой уклон в нашу сторону. Немцы погрузили на открытую платформу взрывчатое вещество с детонаторами и пустили платформу по полотну. Платформа катилась, наращивая скорость, дьявольского груза ее хватило бы для взрыва целого города. А чего им было экономить, вся Европа на них работала!

Платформа прошла около пятнадцати километров беспрепятственно, катясь под уклон, все набирая скорость, и, поздно замеченная, налетела на бронепоезд, который в это время вел артобстрел вражеских объектов.

Взрыв страшной силы разбил пять боевых платформ, остальные были серьезно повреждены.

Теперь на всем участке фронта остался только наш бронепоезд.

Командир, комиссар и я обсуждали это событие, когда получили координаты оборонительных пунктов врага. Мы должны были атаковать их артиллерийским огнем. До выхода на операцию оставалось очень мало времени.

В это время командира снова позвали к телефону и дали новый приказ: во избежание повторения катастрофы с бронепоездом-122 пустите вперед дрезину!

Капитан побледнел, положил трубку и отозвал меня в сторону.

— Ведь это значит—послать ее на верную смерть... чует мое сердце, немцы повторят свой прием...

Мне не менее тяжело было представить, что...

— Есть выход! — воскликнул я.

Капитан стремительно и цепко схватил мою руку.

— Какой выход? — он приблизил ко мне свое лицо и впился пронзительным взглядом.



— Срочно переместить платформы, вперед пустить запасные, с грузами, и остановить их за полкилометра от нас.

Капитан глянул на часы.

— Не успеем, — глухо выговорил он. — До выхода на позицию — меньше часа. На перемещение потребуется больше времени, бронепоезд для этого надо вести на соседнюю станцию, стрелки только там...

— Тогда перекроем путь запасными шпалами, если немцы пустят минированную платформу, пусть себе взрывается...

— Думал и об этом, — резко качнув головой, сказал Балашов. — Не годится! А если придется нам двигаться вперед, тогда что?

Я чувствовал, что теряю самообладание.

Невольно покосился туда, где на зеленых ящиках со снарядами вполоборота друг к другу сидели Нелидова и Веремеева. Накинув на плечи свои шинели, они оживленно болтали о чем-то. Как у всех женщин, темы для разговора у них не переводились.

— Будь у нас время, я перевел бы одну пушку на прямую наводку, поставил бы ее в начало состава и, как только показалась бы эта хреновая платформа, расстрелял бы ее в упор, и дело с концом! Но сейчас... — капитан опять посмотрел на часы.

Времени действительно оставалось очень мало. Необходимо было срочно принять решение. Тем более, что дрезина находилась в хвосте состава и на ее перемещение требовалось минимум полчаса.

— Сержант Нелидова, — громко окликнул капитан.

Нелидова тотчас вскочила, одернула гимнастерку и поспешила к нам, на ходу сказав Веремеевой что-то очень смешное, отчего обе расхохотались.

Балашов стоял туча тучей. Но я-то понимал, какие чувства бушевали в нем сейчас, какие противоречия раздирали этого на вид холодного и сурового человека.

Нелидова стояла перед капитаном — руки по швам, выцветшая пилотка кокетливо сдвинута набекрень, коротко остриженные волосы тщательно зачесаны назад. Стояла, глядела своими огромными голубыми глазами на капитана и ждала его приказа. Чувством собственного достоинства, уверенностью и силой дышала вся ее стройная подвижная фигура.

Капитан, показавшийся мне сейчас надломленным, постаревшим, хмуро глядел на девушку и молчал. Наконец он спросил:

— Сержант, тот боец, вероятно, уже обучится водить дрезину?

— Пока нет, товарищ капитан.

— То есть как пока нет! — возвысил голос капитан. Но тотчас опомнился, взял себя в руки и уже потише, но все же раздраженно спросил: — Что же вы делали столько времени? Неужели так сложно обучить человека водить дрезину? Переведешь рукоятку вперед — дрезина идет вперед, назад переведешь — назад пойдет. Дорога прямая, ровная — ни ухабов, ни рытвин, ни поворотов. Нормальный человек за час научится!...

— Но у нас не было и этого часа, товарищ капитан. Боец, который прикреплен к дрезине, ни на минуту не мог отойти от пушки, ведь он заряжающий.

— Почему выбрали именно заряжающего, неужели другого не нашлось? — глядя на меня в упор, резко спросил Балашов. Глаза у него были красные, воспаленные, как у больного в сильном жару.

— Товарищ капитан, вы же знаете, в расчетах не хватает людей. Вообще-то он подающий, но сейчас работает за двоих, и за себя, и за заряжающего...

Капитан помрачнел еще более.

— Сержант Нелидова, даю полчаса, объясните вашему сменщику, покажите ему все, что нужно, и сажайте на дрезину, ясно?

— Как можно, товарищ капитан! — вмешался комиссар.

— Можно! — твердо сказал Балашов.

— Нет, этого делать нельзя, — возразил комиссар. — Мы поставим все под удар. Человеку, который в глаза не видел дрезины, не знает, с чем ее едят, мы тят-ляп что-то объясняем и отправляем его на задание? А почему не посадить на дрезину опять же Нелидову?

— Вы понимаете, что говорите? — взорвался капитан.

— Отлично понимаю, — настаивал на своем комиссар. — Если она столько времени могла справляться, справится и эти два дня, а мы тем временем подготовим ей замену.

— Комиссар, дорогой ты мой, пойми, на это задание нельзя посылать женщину!

— Товарищ капитан! — услышав это, заговорила Нелидова. — Я такой же боец, как любой другой на бронепоезде, и справлюсь со своими обязанностями не хуже их.

В ее голосе звучала обида.

— Делить военное дело на женское и мужское не считаю правильным, — сказал комиссар.

Нелидова покраснела. Смело, даже с вызовом смотрела она на капитана.

— Молодчина, сержант! Вы совершенно правы, — одобрительно сказал комиссар Нелидовой и перевел взгляд на капитана.

Капитан отозвал его в сторону. Я слышал, как он ему говорил:

— Послушай, Степанов, мы должны пустить дрезину вперед бронепоезда как прикрытие, понял? — голос капитана звучал надтреснуто. — Если навстречу пойдет минированная платформа, дрезина примет удар на себя, понимаешь ты или нет? Здесь требуется мужская сила. Если на дрезине будет ловкий парень, он разгонит ее вперед, а сам спрыгнет. Женщина не сумеет этого сделать, не успеет, пойми ты, Степанов!

Выслушав все это, комиссар тоже призадумался. Однако и Нелидова что-то смекнула.

— Вы считаете, что мы, женщины, уступаем вам в мужестве? Что я не справлюсь с заданием? Вы так думаете, верно, товарищ капитан? — она смотрела на него с каким-то ожесточением.

— Сержант, — проговорил капитан, умоляюще вытянув шею, но тут же опомнился, повысив голос, приказал: — Сержант Нелидова, сейчас же ступайте к дальномеру!

— Товарищ капитан! Дрезина по приказу поручена мне. Если...

— Сейчас же ступайте к дальномеру! — громче повторил капитан.

Нелидова все еще медлила исполнять его приказ.

— Если вы не отпустите меня, я всю жизнь буду мучаться... Я буду думать, что меня оттолкнули, отбросили из-за того лишь, что я женщина... — слезы стояли в ее глазах, голос дрожал.

— Сейчас же к дальномеру! — повелительно крикнул капитан, и глаза его сверкнули. Но на этот раз «Кузьма Грозный» не был так грозен, не хватало ему прежней суровости и силы.

Когда Нелидова повернулась на каблуках и отошла, Балашов обратился ко мне:

— Дрезину перегнать к разгрузочной платформе, снять с пути и переместить в начало состава. — Потом он заглянул мне в глаза, словно стремясь убедиться, верно ли я его понял, и спрыгнул с платформы. Этого он никогда не делал; даже во время боя, как бы он ни спешил, он всегда сходил по лестнице.

Хотя капитан поручил переместить дрезину мне, сам он ни на шаг не отходил от нас, самолично отдавал все распоряжения.

Комиссар тоже неотлучно присутствовал при этой операции.

В нескольких километрах от нас, вдоль полотна, метров в сто длиной, тянулась бетонная эстакада. Мы перенесли дрезину на эту эстакаду, исполнявшую роль разгрузочной платформы, потом отодвинули бронепоезд назад и снова поставили дрезину на рельсы. Таким образом дрезина оказалась в начале поезда. На все это ушло около двадцати минут.

— Вызовите ко мне бойца, которого мы прикрепили к Нелидовой, — приказал командир.

Вскоре боец по фамилии Терехов стоял навытяжку перед командиром. Ему было лет двадцать или двадцать один. Рыжеволосый, худой, болезненный с виду. Я знал его уже давно. Тихий и незаметный, он был очень добросовестным и старательным бойцом.

Командир с сомнением оглядывал его.

— С какого ты орудия, Терехов?

— Со второго, товарищ капитан, — бойко ответил Терехов.

Командир обернулся к нам и тихо, чтобы парень не услышал, проговорил:

— Верно, и там не сгодился, потому и раздобрились, отдали нам. Как говорится, на тебе, боже, что нам негоже. — Потом повысил голос: — Хотим поручить тебе особое задание, товарищ Терехов, справишься? — спросил командир и посмотрел на него в упор.

— Справлюсь, товарищ капитан, — быстро, весело и уверенно ответил Терехов и еще сильнее вытянулся.

— Ты должен повести дрезину впереди броней боев да и, если придется, принять на себя первый удар. Сумеешь вести дрезину?

— Сумею, товарищ капитан, только если покажут, как водить-то. А технику я люблю, с ходу разберусь, — охотно, с живостью ответил боец и, улыбаясь, уставился на нас. У него было такое выражение, точно он стремился узнать по нашим лицам, правильно ли отвечает или нет.

— Больно уж он веселый, — опять тихо сказал нам капитан. — Понимает ли он, что ему грозит? — потом снова перевел взгляд на Терехова. Помолчал.

— Откуда ты родом, Терехов? — спросил его комиссар.

— Из Смоленска, товарищ комиссар.

— Дома-то у тебя кто?

— Никого уже не осталось, товарищ комиссар, фашисты всех поубивали. Я за родных отомстить должен. Я клятву принес, товарищ комиссар!

Капитан долго смотрел на Терехова, изучая его, потом сделал шаг вперед и протянул руку бойцу.

— Молодец, Терехов, ты отличный боец! — сказал он и, обернувшись, крикнул: — Нелидову ко мне!

Нелидова бегом прибежала. Она уже надела шинель, подпоясалась ремнем. Глаза у нее блестели ярче обычного, лицо горело.

— Покажите Терехову, как нужно сдвинуть дрезину с места, как разогнать, как вести вперед, назад, останавливать, тормозить, словом, все что надо. Ну, живо!

— Не могу показать, товарищ капитан!

— Что-оо!?

— Дрезину вожу я, это моя обязанность. Терехов пока не сможет, — твердо произнесла Нелидова, только голос ее слегка дрожал.

— Молчать! — взревел капитан. — Сейчас же передайте ему ключ! Ясно?

Нелидова не двинулась с места. Она стояла и смотрела на капитана молча, глаза в глаза.

Во всем ее облике была такая сила, непреклонность, что пораженный комиссар обошел ее кругом, ос-

тановился перед ней, заглянул ей в глаза, потом пошел к нам, обхватил нас обоих руками за талию и, ведя в сторонку, сказал:

— По-моему, сейчас просто неудобно посылать Терехова одного. Все смотрят на нас. Пусть уж едут на задание вдвоем, и для парня хорошо — практика... В конце концов, почему это именно сегодня немцы запустят эту распроклятую платформу? Капитан, тебе, часом, нервы не изменяют?.. Сегодня и завтра, а потом Терехов освоит дело и сам будет водить дрезину. Я думаю, так будет лучше, — заключил он и покосился на меня в ожидании поддержки.

Комиссар наш обладал ценным качеством — никогда не выходить из себя и не теряться даже в минуты крайней опасности. А если он предлагал что-нибудь, предложение это бывало так продумано и обосновано, что не согласиться с ним было невозможно.

У капитана непрерывно дергались веки, он то и дело поглядывал на часы.

— Гото-овсь! — раздалась наконец его зычная команда.

Паровоз зашипел, запыхтел, по боевым платформам торопливо загрохотали солдатские сапоги. Залязгал металл — это крепили орудия, чтобы не болтались во время хода из стороны в сторону.

— Сержант Нелидова и рядовой Терехов! Вы едете на дрезине впереди бронепоезда. Дистанция — пятьсот метров. Останавливается поезд — останавливаетесь и вы. Двигается поезд — двигаетесь вы. Когда закончится стрельба, вы догоняете нас и присоединяетесь к составу. Задача ваша такова: в случае появления на полотне движущейся навстречу нам платформы или паровоза тотчас сообщаете нам, а сами... — у капитана осекся голос...

— Преграждаете путь... — закончил комиссар.

— На дрезине установлен крупнокалиберный пулемет. Ветровое стекло снято, стрелять можете свободно. Даем вам еще два автомата... радиопередатчик не выключать ни на минуту! Передавайте незамедлительно все подробности! А главное вот что: при появлении встречного срочно даете нам знать, одновременно тормозите дрезину, закрепляете ее на месте, а сами, если все это успеете проделать, прыгайте, ясно? Встречная

платформа будет минированная. Вы только подставляете ей дрезину, она и без вас взлетит в воздух, ясно? Сами выпрыгиваете как можно дальше и скатываетесь по насыпи. Все ясно?

— Так точно, товарищ капитан, все ясно! — почти в один голос выкрикнули Нелидова и Терехов.

Я смотрел на них. Не знаю, показалось мне или нет но как я видел, так и запомнил: лицо Нелидовой пылало, ее огромные голубые глаза полыхали каким-то светом. Она была взволнована, но старалась не показать этого, и только грудь ее вздымалась высоко, и эти вот глаза... Терехов же стоял с таким счастливым видом, словно посылали его не на смертельную опасность, а на веселый долгожданный пир.

Командир собирался было еще что-то сказать, но передумал. Глянул на часы.

— Ну, ступайте с богом, — сказал он им, круто повернулся и, не оглядываясь, зашагал к своей платформе. Он ступал грузно, плечи его ссутулились больше обычного, точно взвалили на него непосильно тяжелый груз.

Нелидова и Терехов, взяв под козырек и бодро крикнув «есть», дружно в ногу побежали к дрезине.

Вскоре прозвучала команда Балашова:

— Полный вперед!

Мы успешно провели стрельбу. С наблюдательно-го пункта старшего артиллерийского начальника объявили нам благодарность. Когда все кончилось, командир, приободрившийся и даже радостный, с облегчением скомандовал:

— Полный назад! — и следом: — Марина, ко мне! «Марина» был шифр дрезины.

Балашов снял шапку, усталым движением пригладил волосы, расстегнул верхнюю пуговицу воротничка и присел на ступеньку мостика.

Мы с комиссаром присоединились к нему.

— Как я понимаю, ты все сделал правильно, дорогой мой Кузьма Матвеевич, — спокойно, неторопливо заговорил комиссар. — Одного только не пойму — почему ты приказал Нелидовой и Терехову прыгать с дрезины? Приказал ведь, верно?

— Приказал. А что тут непонятного? — командир, поскребывая в затылке, искоса глядел на комиссара. —

Во-первых, как только платформа налетит на дрезину, она тотчас взорвется, независимо от того, будут ли на дрезине люди или нет. Нужно только остановить дрезину, либо погнать ее навстречу платформе, словом, главное, чтобы столкновение было достаточно сильным. Если дрезина не остановится или будет идти в том же направлении, что и платформа, может случиться, что платформа потихоньку нагонит дрезину и покатит ее перед собой. В таком случае взрыва может и не произойти, поскольку столкновение будет недостаточно сильным. А тогда что? Тогда фашистский подарочек либо врежется в бронепоезд, либо мы все вместе будем откатываться назад до самой станции. Если же платформа взорвется на станции, это будет самым худшим... Это во-первых. А во-вторых, я, товарищ комиссар, хорошо знаю своих людей. Нелидова и Терехов не из тех, кто, спасая собственную шкуру, может не выполнить задания. Теперь-то тебе все понятно?

Комиссар поглядел на Балашова, утвердительно покачал головой и ласково потрепал его по плечу.

Как только мы стали на запасную позицию, командир созвал офицеров на совет.

Он изложил сам свой план действий. План опирался на особенность нашего местоположения. От линии фронта до боевой позиции бронепоезда местность, как уже говорилось, шла под уклон, но дальше, к тылу, начинался подъем. Поэтому, какова бы ни была сила инерции минированной платформы, где-то в начале этого подъема она неизбежно должна была остановиться. Следовательно, станции Жихарево она бы не достигла — станция находилась позади нас на возвышенности. Поэтому нам следовало быстрым ходом отходить назад и остановиться где-то за станцией.

Но была у плана и своя уязвимая сторона: если мы откроем путь платформе, не исключено, что она влетит на станцию и либо взорвется сама, либо немцы взорвут ее, расстреляв артиллерийским огнем. И станция, столь важная для всего нашего фронта, надолго выйдет из строя.

Эта станция, неоднократно подвергавшаяся обстрелам и бомбежкам, пребывала в плачевном состоянии, но тем не менее действовала, более того, через нее и осуществлялось все снабжение фронта.

С наступлением сумерек до рассвета станция была, что растревоженный улей: здесь сновало множество людей, машин, поспешно разгружались и погружались эшелоны. Днем станция замирала, была пустынной и безлюдной, и вражеские самолеты-разведчики, часами кружа над местностью, ничего подозрительного не обнаруживали.

Несколько месяцев назад Жихарево заняли немцы, которые срочно разобрали железнодорожное полотно, вывезли рельсы и оставили только два пути. Немцы вскоре были выбиты, наши части освободили Жихарево, и с тех пор станция превратилась в главный железнодорожный пункт фронта. Поэтому подвергать ее сейчас столь серьезной опасности мы не могли.

Учитывая все это, Балашов придумал хитроумный ход: поскольку железнодорожное полотно в тех местах проходило по высокой насыпи, один склон которой перерастал в довольно широкую и глубокую балку, капитан предлагал отвести от пути короткую ветку в сторону этой балки. На развилке же устанавливалась стрелка. После того, как бронепоезд пройдет развилку, стрелка будет переведена, и чертова платформа на всей скорости влетит на боковую ветку, а потом, сорвавшись вниз, взорвется уже на дне той балки. Таким образом, план командира вдребезги разбивал коварный замысел фашистов.

Разумеется, план был одобрен и принят, и мы срочно приступили к его осуществлению. Все вспомогательные взводы были брошены на работы по прокладыванию ветки. Времени было в обрез — до вечера.

Но среди дня началась тревога: немцы стали теснить наши части, находившиеся на передней линии, и они срочно затребовали артиллерийскую помощь.

Мы свернули работы и разобрались по платформам.

Выхода не было — снова пришлось пустить вперед дрезину.

На этот раз мы отнеслись к этому более спокойно — надеялись, что опять, как говорится, бог пронесет.

Только капитан помрачнел. Видно, горький опыт войны так обострил его и без того богатую интуицию, что он всегда почти безошибочно предвидел опасность.

Наверное, и тогда чуяло его сердце близкую беду.

Он командовал боем, постоянно держа в поче дрезину и путь перед ней.

К несчастью, погода испортилась. Опустился такой туман, что дрезина, отстоявшая от нас, как было сказано, на пятьсот лишь метров, потонула в белесом мареве, и капитан тщетно старался что-либо разглядеть в свой бинокль.

Вдобавок заморосил дождь.

Однако рейд прошел благополучно. Мы успешно провели стрельбу и оказали существенную помощь нашим стрелковым частям.

После боя я поднялся на мостик капитана.

— Вот ведь напасть какая, а? Из огня да в полымя! — сказал обеспокоенный капитан. — Ты гляди, какой сволочной туман. А самое скверное — морось! Тормозить дрезину будет ой как трудно, а этой паскудной платформе, коли они ее запустят, мокрые рельсы только на руку!

Он отдал приказ бронепоезду отходить задним ходом и дрезине следовать за нами.

— Дрянь погода! — снова обратился он ко мне и начал мерить шагами мостик. Потом сказал: — Пошли на последнюю платформу, там лучше.

Мы перебрались на последнюю платформу. Но и там ему не сиделось. Он приказал командирам орудий быть в боевой готовности, предупредил о том же дежурного по бронепоезду, вызвал к себе радиста, а сам все наблюдал за полотном.

— Такая дрянь погода, немцы обязательно что-то выкинут... Вот увидишь, непременно сюрприз преподнесут... и надо же! — именно сейчас этот проклятый туман и дождь, черт его дерит!..

Бронепоезд приближался к стоянке. Дрезина послушно следовала за ним. Сквозь клочья тумана проглядывал черно-желтый кузов дрезины.

Капитан оживился.

— Готовьтесь людей обедом кормить и — за работу! Транспортники уже обеспечили оборудование стрелки, молодцы ребята, по винтику собирали. Если к вечеру успеем, сам черт нам не брат! Фашистский подарок полетит к едреной матери — в балку! — он громко расхохотался. — То-то будет потеха!..

В это время радист громко крикнул:

— Командира к аппарату!

— Кто? — вскинулся Балашов.

— Дрезина вызывает!

Балашов бросился к радиоаппарату, схватил трубку.

Глаза его расширились.

Он побледнел, изменился в лице.

Какие-то мгновенья он стоял, точно одеревенев, и молча слушал. В трубке беспрерывно трещало — кто-то быстро говорил.

Я подошел вплотную, склонился к трубке.

—... паровоз возле моста столкнул по рельсам платформу! — услышал я взволнованный голос Нелидовой. — Паровоз ушел... мы не сразу сообразили, в чем дело, потому сообщаем с опозданием... Потом туман скрыл платформу, но теперь она снова видна. Идет на нас... движется пока со средней скоростью!

— Давай полный назад! — крикнул мне капитан, продолжая слушать Нелидову.

Я дал команду в микрофон. Бронепоезд стал ускорять ход.

— Сержант Нелидова, прибавьте скорость и следуйте за нами! Посмотрим, до каких пор она будет катиться...

— Товарищ командир, платформа набирает скорость! Она приближается. Сейчас я вижу ее без бинокля... на ней ящики...

— Давай на предельную! — не отрываясь от трубки, велел мне капитан.

Я передал приказ на паровоз.

Бронепоезд мчался на всех парах.

— Нелидова! — кричал в трубку капитан. — Следуйте за нами, дистанцию уменьшите до двадцати метров! Двадцать метров! Мы идем на максимальной скорости!

— До каких пор? — хриплым голосом озабоченно проговорил комиссар, который тоже стоял уже возле радиста. — Вот-вот станция! Ты представляешь себе, что будет? На станции санитарный поезд, эшелоны...

Командир провел рукой по лбу, отирая пот, и с такой силой тряхнул мокрой рукой, словно пристала к ней какая-то гадость.

Трубка молчала. Вероятно, там тоже задумались над тем, о чем здесь забеспокоился комиссар.

— Командир, принимай решение! Эти гонки больше недопустимы! — решительно сказал комиссар.

Капитан снял шапку. Лицо его покрывали красные пятна. Встречный ветер развеивал волосы.

— На каком расстоянии от вас платформа? — крикнул он в трубку.

— Метрах в трехстах пятидесяти, — слышалось оттуда.

— Нелидова! — еще громче крикнул капитан. — Срочно останавливайте дрезину, ставьте ее на тормоза, сами прыгайте оба! Срочно, немедленно прыгайте! Это приказ, вы меня слышите? Тормозите сейчас же и прыгайте! Прыгайте на насыпь и скатывайтесь подальше!.. Почему вы молчите? Марина!..

В это время бронепоезд прогрохотал на входных стрелках Жихарево. Мимо нас пронеслась полуразрушенная водокачка.

— Мы на станции! — воскликнул комиссар. В его голосе прозвучали тревога и упрек.

— Нелидова! Говорите, что там у вас!

— Тормоза не держат, товарищ командир! Путь мокрый, мы все еще катимся по рельсам... платформа быстро приближается...

— Не ждите полной остановки дрезины, закрутите до предела тормоза, она сама остановится! Прыгайте сейчас же! Сейчас же прыгайте, вы меня слышите?!..

Дрезина молчала.

— Я приказываю! Прыгайте! — надрывался капитан. — Вы уже выполнили свое задание! Сейчас же прыгайте!

— Товарищ капитан! Мы не успеваем спрыгнуть! Платформа совсем близко! — Голос Нелидовой звучал удивительно спокойно. — Мы не смогли остановить дрезину, тормоза не держат. Мы не можем ее так оставить, платформа не взорвется. Мы с Тереховым уже приняли решение: включаем переднюю скорость. Другого выхода у нас нет.

— Марина, не смей! Взрыв произойдет и без вас! Прыгайте, приказываю!

— Товарищ Балашов! Дорогие друзья, прощайте!.. Не забывайте нас!..



— Марина! Прика...

Ужасающий грохот поглотил все звуки. На венце мы все оглохли.

Капитан так и остался стоять, склонившись над аппаратом, только трубка выпала из рук.

Мы с комиссаром оцепенели.

Бойцы расширившимися глазами глядели на нас.

Никто не проронил ни звука.

Некоторые обнажили головы.

Не знаю, сколько длилось наше скорбное молчание.

Наконец заговорил комиссар.

— Это и есть настоящее мужество, — сказал он глухо. — Надо доложить командованию. Об этом должны узнать все...

Капитан ничего не слышал. Он стоял неподвижно, все так же согнувшись. Плечи его упали, и он исподлобья глядел туда, где вперемешку с туманом клубился густой черный дым.

Я не помню, как мы вернулись на нашу стоянку.

Бронепоезд остановился, паровоз спустил пары.

Воцарилась мертвая тишина.

Я выглянул с платформы. Бойцы, мрачные, понурые, молчаливые, сходились группами.

Балашов стоял на одном и том же месте и глядел вдаль.

...На платформе раздались шаги. Вся красная, заплаканная Веремеева как-то несмело, точно украдкой, подошла к нам, утирая платком глаза.

— Товарищ командир!..

Он не слышал.

— Чего вам, Веремеева? — спросил я.

— Это вот Марина дала мне перед выездом... просила, если что случится, чтобы домой переслала... — и она вручила мне пакет, обернутый в газетную бумагу и перевязанный голубым шнурком.

Безотчетно я развернул его.

С фотографии глянула на меня пожилая приятная женщина.

— Это учительница Марины... она столько про нее рассказывала, — сквозь слезы проговорила Веремеева.

С другой фотографии улыбался бравый морской командир.

— Маринин брат, который недавно погиб...

На третьей фотографии была она сама, Марина Нелидова.

На обороте торопливым, но четким почерком было написано: «В день поступления в педагогический институт».

— Товарищ капитан, — снова обратилась Веремеева к Балашову. — Я никогда себе не прощу, если не скажу вам... Марина любила вас!

Капитан покачулся, точно в спину ему вонзили нож.

Веремеева, не прибавив ни слова, повернулась на каблуках и торопливо ушла с платформы.

...Мне казалось, что не три фотографии, а три человеческие жизни лежали на моих ладонях...

В ушах у меня звучали слова Нелидовой: «И тебя настигнет пора сожаленья»...

Видно, ни одному смертному не избежать этой страшной кары, этих страшных слов. Сожаленье... Сожаленье — это червь сердца, который точит его до тех пор, пока не источит вконец.

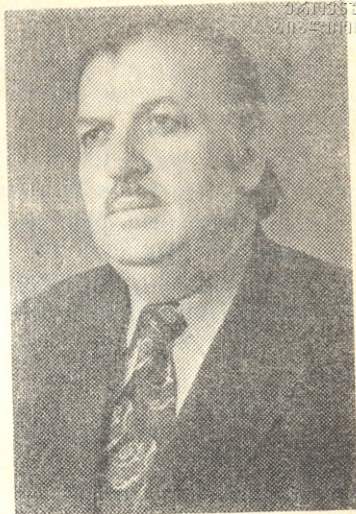
..А капитан все стоял неподвижно и глядел в туманную даль.

По запавшим, небритым щекам его медленно катились слезы...

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ



ФЛЯГА



(ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗЫ
О БЕЛОРУССИИ»)

Спит лес.

Спят утомленные боем ребята. Кто в шалашах, кто под деревом, положив голову на выступы корней. Темно и удивительно тихо в лесу. Лишь время от времени кто-то всхрапывает во сне. Только и всего.

Догорела последняя головешка, пеплом затянуло угли.

Кто-то стонет поодаль. Чуть ближе слышится чье-то ровное дыхание.

И все же тихо в лесу.

Неприятно и тоскливо зудит комар.

Чего он зудит?

Снов хотят ребята...

Кто знает, кому улыбается сейчас под этой елью Миша Лизунов, подложив под голову правую руку вместо подушки. Может, видится ему далекая Сибирь, мать, любимая... Может, бродит он во сне таежными тропами.

А может...

Чего все же зудит этот чертов комар?!

И мне не дает уснуть. Я тоже хочу этак свободно растянуться в шалаше или здесь, рядом с Мишей, и сладко захрапеть.

Но какой там сон! Комары выворачивают душу!
Кто-то стонет. Пойти посмотреть, отчего так мучается
Шороп... 202301033

Ступаю осторожно — не разбудить бы ребят. Может, они видят сны. Может, хоть во сне обнимают матерей, любимых...

Встанут чуть свет, начнут рассказывать — не столько правды, сколько выдумок...

Удивительные ребята наши партизаны. После боя клещами не вырвешь из них слова.

— Сказывай, сколько фашистов прикончил? — спрашивает комиссар кого-нибудь из них.

— Я? Ни одного. Вот он! — Показывает на другого.

— Ты?

— Я, что ли? Стрелял, как все, и гранату, кажется, швырнул!

— И что же?

— Да не знаю, — улыбается, — ничего не видел.

Такие уж наши ребята. Но сны рассказывать гораздо. Не столько правды расскажут, сколько придумают. Будто все в родной деревне были... Будто все видели матерей, любимых... Рассказывают и светлеют.

Хорошие ребята, именно — хорошие.

35 лет назад отгремели торжественные залпы Победы, но Великая Отечественная война оставила неизгладимые следы в жизни народов всего мира и, конечно, в жизни советского народа.

Как ни парадоксально, но война обогатила литературу, вызвав к жизни новые темы, подняв новые проблемы. Многие и многие фронтовики — писатели, журналисты, вернувшись в мирную жизнь, посвятили свое перо, всю свою творческую энергию изображению пережитого и осмыслению всего происходившего. Благодаря таланту таких выдающихся писателей, как Константин Симонов и многие другие его современники — прозаики и поэты, тема Великой Отечественной войны во всей советской литературе зазвучала в полную силу.

В грузинскую литературу, обогатив ее новыми образами, новой проблематикой и тематикой, после войны тоже пришло целое поколение писателей-фронтовиков. Одним из тех, чья юность прошла под пулями — на фронтах и в партизанских подпольях, — является и Давид Квицидзе, грузинский писатель — прозаик, поэт, драматург.

Шорон здешний, белорус. Ранило его вчера. Теперь он стонет, мечется от боли, я слышу его стоны и рожню вхожу в шалаш.

— Болит, Володька?

— Да.

— Хочешь воды?

— Хочу!

Протягиваю флягу. Узнает врач — устроит мне головомойку. Впрочем, какой он врач. Кажется, даже и не фельдшер, но у нас он за врача. Умеет перевязывать раны. Если нет марли, разорвет рукав чьей-либо рубашки. Иной раз йоду достанет. Вот и вся его медпомощь.

Володя не стонет, притих.

Я все же сижу рядом.

— Иди, Саша, отдыхай!

«Слава богу, что хоть голос подал, а то впрямь...» — думаю про себя. Ложусь тут же, у шалаша, и смыкаю веки.

Нудно зудит комар, и сон бежит от меня.

Завтра Первое мая.

В полночь я должен разбудить Мишу и — в путь-дорогу. Мы с Мишей припасли на завтра тайну. Первомайскую.

Ныне Давиду Васильевичу Квициридзе исполнилось 60 лет. Им немало перевидано и пережито в годы войны. Он был на фронте, партизанил в белорусских лесах, прошел через множество испытаний, не раз рисковал жизнью.

«Прощайте, дремучие леса!» — такое поэтическое название дал он своему первому роману. До этого Д. Квициридзе был известен как автор множества прекрасных стихотворений. Роман с интересом был встречен не только грузинским читателем, но и широкой читательской общественностью всей нашей страны. Он переведен на русский язык и многие языки братских народов.

60 лет для истинного художника, как говорится, пора творческой зрелости и подъема. И Давид Квициридзе продолжает покорять новые вершины. Совсем недавно появился еще один его роман — «Зеленый город».

От души желаю моему дорогому Давиду много новых радостей, много новых побед!

Ираклий АБАШИДЗЕ

Знает о ней только комиссар, больше не доверяет никому.

В полночь мы уйдем. Который уже час?
Завтра Первое мая...

Я вспоминаю свой город, первомайский парад, древние липы в большом саду, дзельквы... Пытаюсь вспомнить ее глаза. Какого же цвета были у нее глаза? Голубые? Нет. Кажется, медовые, во всяком случае не черные. Нет, не черные.

Вот она идет, слегка покачивая станом. Намеренно уходит вперед. Я гляжу на нее, и хочется обвить ее руками...

А что если я ее поцелую?

— Воды!

Размыкаю веки. Явь все это или сон?..

— Воды!

Да это Шороп.

— Болит, Володька?

— Да.

— Хочешь воды?

— Хочу!

Протягиваю флягу. Он пьет и опять затихает.

— Володька!

Володька открывает глаза.

— Я пойду, флягу оставлю тебе.

— Спасибо!

Спят ребята. Спит лес. Зудят комары. Ровно дышит Миша. Улыбается во сне. Кого он видит сейчас?

Пусть поспит немного. Мною снова овладевают не то воспоминания, не то сон.

Который уже час?

— Миша!

Чуткий у Миши сон. Тотчас вскочил.

— Это ты?

— Я.

— Который час?

— Не знаю.

— Пойдем?

— Да.

Миша поправляет на поясе оружие и смотрит на меня с постной миной. Глаза у него кошачьи, и я чувствую на себе его взгляд.

Бесшумно покидаем лагерь, на цыпочках пробира-
ясь по тропе. Спите спокойно, ребята! Пусть еще много
майских зорь рассветет для вас!

А мы... Мы с Мишей Лизуновым уходим. У нас
своя тайна, предмайская.

По дороге Миша разговорился:

— Сон я видел. Знаешь, будто в своей деревне
был...

— Знаю, Миша, частенько об этом говоришь.

— Да, был я, значит, на майских торжествах. Зна-
ешь, сразу за околицей — лес...

— Знаю, Миша, знаю!..

— Уединились мы с ней. В лесу... Она впереди шла,
я позади. А знаешь кто?

— Знаю, Миша!

— Потом она вдруг побежала... Не хотелось дого-
нять ее. Обернулась. Гляжу, улыбается. Не разобрать—
то ли ласково, то ли с насмешкой. Задело это меня, до-
гнал ее, обхватил. Сникла. Привлек я ее, прижал к гру-
ди и поцеловал.

— Ого, ты, брат, смелей меня! И тут я тебя разбу-
дил?

— Да.

— Эх, знал бы, повременил немного.

— Брось ты шутить, Саша!

— Я не шучу.

— А тебе что снилось? Выкладывай.

— Мне ничего не снилось...

Идем мы в деревню Буду. В самом центре деревни
живет бургомистр. Кровопийца. Всю жизнь отравил и
без того отчаявшимся сельчанам.

Сечет плетьюми и старого и малого. Контору себе
устроил в бывшем здании сельсовета. По ночам ставит
к своему дому полицаев.

К нему мы и идем с Мишей. Кровавым будет для
бургомистра нынешний Первомай.

Не застиг бы рассвет! Прибавляем ходу. Ползем по
зеленой пшенице и дышим запахом свежего хлеба.

Идем на свет.

Темно в деревне. Ни огонька, ни звука. Только в
самом центре, в доме бургомистра, светятся окна.

Оттуда доносится шум. Ползем.

Вот и бургомистров дом...

Приподнимаю голову.

— Видишь?

— Нет!

— Не кричи. Взгляни на крайнее окно.

— Вижу!

— Много их?

— Человек десять!

Бургомистр повадился водить к себе гостей. Сам немецкий майор кутит у него.

Кто-то поет петушиным голосом.

Поет... А там стонет Володька Шороп! Мечется от боли! Завтра наш Первомай, а тут кто-то поет!

Подползаем ближе к дому. Раздаются шаги. Это два полиция охраняют дом бургомистра. Миновали нас.

— Как только пройдут обратно...

— Знаю!

— Они не должны успеть пикнуть!

— Знаю! Тсс. Идут!

Нервы напряжены.

Я слышу, как бьется у Миши сердце. Он, наверное, тоже слышит, как бьется мое.

В эти дни Давид Квицаридзе получил множество поздравлений. Мы решили опубликовать одно из них, от его друга и соратника, знаменитого партизана Адама Стельмаха.

Уважаемый товарищ Квицаридзе Давид Васильевич!

Горячо и сердечно поздравляю тебя, сына грузинского народа, со славным юбилеем — 60-летием со дня твоего рождения. От всего сердца желаю тебе и твоей семье большого семейного счастья, крепкого здоровья и успехов в труде на поприще твоей литературной деятельности.

Ты являешься одним из тех советских патриотов, кто в суровые годы Великой Отечественной войны не щадил ни своих сил, ни самой жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за честь, свободу и независимость нашей любимой Родины.

Находясь в партизанском подполье в тылу врага, ты перенес самые тяжелые испытания, смертельную опасность. Ты ежедневно и ежечасно находился на грани жизни и смерти, однако, несмотря на это, ты проводил под руководством Богушевского подпольного райкома Коммунистической партии Белоруссии большую пропагандистскую работу среди населения по созданию боевых партизанских групп и развитию партизанского движения в Богушевском районе, на Витебщине... Твой роман «Процайте, дремучие леса!» является ярким подтверждением этому.

— Сначала ты!
— Хорошо!
— Идут!

Балагурят — видно, подвыпили. Один что-то напе-
вает себе под нос.

Завтра Первое мая. Нет, уже сегодня...

Прыжок...

Полицейские падают, как мешки с воза. Один все
же успел крикнуть.

Выжидательно смотрю на окно. В доме топот, смех,
гам. Кажется, пронесло.

Миша взбирается на крышу. Карабкается, как кош-
ка. Я вскидываю автомат и жду...

Бургомистр и его гости поют.

Сколько уже времени? Светает. На небе ни об-
лачка.

Я вижу Мишу, который укрепляет на крыше бурго-
мистрова дома красный флаг с древком из березовой
палки.

Разбираю надпись: «Да здравствует Первое мая!»
Это и была наша тайна.

Читая твой роман, благодарные настоящие и грядущие поко-
ления будут свято чтить мужество и героизм подпольщиков в борь-
бе с врагом...

Находясь в подполье с сентября 1941 года по февраль 1942
года, когда некоторые подпольщики были казнены фашистами, ты
с разрешения руководителя подпольной организации ушел в пар-
тизанский отряд. Работая в отряде заместителем командира и ко-
мандиром партизанской разведки, с оружием в руках героически
сражался с ненавистным врагом и внес свой посильный вклад в
развитие партизанского движения в Оршанской партизанской зоне
и в победу над фашизмом.

Еще раз я, моя семья, родные и близкие горячо и сердечно
поздравляем тебя, дорогой Давид Васильевич, и желаем тебе всех
благ в твоей жизни.

От имени партизан и подпольщиков Богушевской партизанской
бригады выношу большую благодарность Коммунистической пар-
тии и народу Грузии за то, что они вырастили и воспитали слав-
ного патриота нашей социалистической Родины.

Бывший первый секретарь Богушевского подпольного
райкома партии, комиссар партизанской бригады

Адам СТЕЛЬМАХ.

Миша кошкой спускается вниз. Спрыгнул, посмотрел на флаг и улыбнулся.

Бегом направляемся к сельсовету.

Теперь мой черед, я должен лезть на крышу. Миша не пускает меня, опять карабкается вверх. Я отчетливо вижу спину Лизунова. Вижу красный флаг с древком из простой березовой палки.

Колышется полотнище, трепещет.

Бежим к лесу. На опушке, скрываясь в ветвях, лезем на высокую ель.

Отсюда все видно как на ладони. Виден дом бургомистра, здание сельсовета.

Рассвело.

— Видишь?

У Лизунова острые, кошачьи глаза.

— Вижу!

Кто-то выходит из бургомистрова дома. Подошел к саманнику. Таращит глаза. Видно, заметил полицейских. Угостил обоих пинками.

Открыл рот, что-то выкрикивая. Я не слышу его голоса, но вижу лицо. Вот он глянул вверх, увидел флаг. Схватился за голову.

Кто-то тучный, как боров, втаскивает себя на крышу. Это бургомистр. Не хочет, чтобы гости увидели красный флаг, иначе — не сдобровать.

Бургомистр подбирается к флагу. Хватает за березовое древко и...

Бургомистрова дома как не бывало.

Кое-как мы добрались до лагеря. К тому времени ребята не должны были спать.

Но почему молчит лагерь? Бегу к Шоропу. Вокруг шалаша — партизаны.

Не стонет Володька. Не мечется от боли. Ни у кого не просит воды.

Моя фляга валяется там же...

Перевод с грузинского.

ЕДИНСТВЕННАЯ

КНИЖКА

ПОЭТА



Владимир Убилава оставил нам единственный сборник стихов. Лежит сегодня эта книжка на моем столе — и мысли уносят меня в прошлое, в дни моей молодости.

Мы, ровесники Ладо (так называли его друзья), давно уже перешагнули за полдень жизни, а он и другие безвременно погибшие остались «вечно молодыми».

Тридцать пять лет прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, но в памяти нашей живы боль и страдания. Миллионы жизней унесла война, в числе тех, кто не вернулся под отчий кров, был и Владимир Убилава.

Последнее его письмо с фронта датировано 8 июля 1942 года. С тех пор родные и близкие не имели вестей от него. «Служить Отчизне — самая великая обязанность», — писал Ладо брату, писателю Элизбару Убилава. Исполняя эту самую великую обязанность, и принес Владимир Убилава свою жизнь на жертвенник Отчизны. Он погиб вдали от Грузии, на земле российской. Тогда ему было всего двадцать шесть лет...

Сегодня мы отмечаем шестидесятилетие поэта... Передо мной лежит единственная, но прекрасная книга молодого поэта, книга, наполненная раздумьями и трепетом юности, безмерной любовью к отечеству.

Многое вспоминается мне!.. Хочу начать издавека... Когда и где я увидел впервые Владимира Убилава?

...Это было давно. Я был учеником старшего класса. На время летних каникул я записался в геологическую экспедицию, от-

правлявшуюся в горы Сванетии и Мегрелии. Однажды в горах нас настигла непогода. Все утонуло во тьме, дороги не видать. Не переставая лил дождь. На альпийских пастбищах мы набрали в стоянку мегрельских пастухов. Седой пастух любезно пригласил нас в палатку. Мы подсели к огню, чтоб согреться. А за стеной непрерывно лил и лил дождь, палатка словно плыла в тумане. Спустя время в палатку вошел высокий худой паренек в пастушьих лаптях — каламани, голова у него была повязана башлыком. Он подложил в костер дров и сел поодаль на чурбак. Поначалу он сидел молча, но потом включился в общую беседу. Не помню, кто из нас первым заговорил о поэзии. Паренек робко прочел какое-то стихотворение, затем другое, потом еще и еще. Он читал медленно, вдумчиво, размахивая в такт словам длинными руками. Помню, как блестели у него глаза, когда он читал «Ночь в горах» Важа Пшавела... А вообще глаза у него были всегда чуть-чуть грустные. Я был рад нашему знакомству. Мы говорили о поэзии до глубокой ночи. Я спросил тогда у нового своего знакомого, не пишет ли он сам стихов. «Нет», — коротко ответил он. Я понял, что он говорит неправду. Наутро мы распрощались с гостеприимными хозяевами и пошли вниз, к ущелью Хайшлуры.

Прошло время. Однажды, раскрыв «Литературули газети» (республиканская «Литературная газета»), под одним из стихотворений, признанных лучшими в конкурсе молодых поэтов, я прочел «Ладо Убилава, ученик цаленджихской школы». То было стихотворение «У родного очага». Я помню его по сей день. Вот фрагменты из него:

Бледный вечер в молчании верб,
Только скрипнет калитка порой, —
Словно дедовский сточенный серп,
Белый месяц под белой горой...

А отец — полководцу сродни —
Озирает уставленный стол:
— Выпьем, сын, за мои трудовни,
За Совет

и за твой комсомол!..
Обогретый родимым теплом,
Засыпаю, обласкан и рад, —
И всю ночь за оконным стеклом
Мелодично звенит перекат.

Это был дебют Владимира Убилава, его путевка в грузинскую поэзию.

Еще спустя время мы встретились в Тбилисском университете. Вспомнили ночь далеко в горах, палатку в тумане. А журнал «Чвени таоба» («Наше поколение») связал нас уже окончательно. Если бы не война...

Первые стихи поэта дышали теплом, были колоритны. Яркими, красочными красками рисовал он картины природы горной Мегрелии, а в его еще незрелых, словно бы неструганных строках ощущалась привязанность к родным краям, к людям, живущим на цветущей земле Грузии. Тонкие и притягательные стихи Владимира Уби-

лава, написанные на мотив колхских мелодий, по сей день не потеряли своей прелести. Такие стихи, как «Колыбельная» и «Бата», казалось бы, стилизованные под народные, сохраняют все почерк поэта, своеобразно озвучившего печальную мелодию далеко-далекого прошлого, органично сочетавшего с современным грузинским языком древние колхские напевы.

Как горько ты плачешь, Бата, —
А я в болоте лежу,
Глазами, от боли сухими
Твой парус не нахожу.
Мне ветер шепчет о прошлом,
И стоны стоят в ушах:
Здесь тысячи тысяч вольных
Зарезал персидский шах...

В ином ключе разрешено стихотворение «Рухская битва», своеобразная переключка с Бесики, не могут оставить читателя равнодушным такие оригинально задуманные стихи, как «Первый огонь на Ушбе», «Ледник», «Колхская сказка» и многие другие стихи, написанные поэтом в течение всего пяти лет. Ни в одном из них ему не изменило поэтическое чутье и вдохновение. Если бы не война, Владимир Убилава, несомненно, внес бы значительную лепту в развитие грузинской современной поэзии.

В жестокую и суровую пору войны в течение года, во время коротких передышек, в окопах, на обрывках газет писал он свои стихи. В письме, присланном с юго-западного фронта, он писал: «Я призван сражаться за освобождение Родины, и чего бы мне это ни стоило, даже жизни, не изменю клятве, данной отчизне. Но я никогда не забывал о стихах. Сколько бессонных ночей коротал я над стихами дома, в Грузии... И здесь я пишу стихи — на обрывках газет. Некоторые я, вероятно, включу в книгу, которую назову «Стихи, написанные в огненных окопах» (если мне посчастливится выжить и издать такую книгу)».

Только истинный поэт мог написать в тот суровый 1942 год в окопах стихотворение «Мельница Гурамишвили», предварив его такими словами: «На украинском фронте вспомнился мне великий грузинский поэт Давид Гурамишвили, который мечтал построить мельницу в Зубовке, близ Миргорода...» Эта своеобразная беседа со своим великим предком — свидетельство того, что и в урагане войны молодой поэт дышал огромной любовью к поэзии, думал и мечтал о том времени, когда сможет служить грузинскому слову.

Удивительно, как сумел Владимир Убилава в окопах, в огне и грохоте войны создать такое идиллическое стихотворение о родном крае, как «Романтика знакомых полей» (1942), поистине вдохновенный гимн родному краю. Это признание уставшего от боя солдата в любви к отчужденному краю, к земле, взрастившей его, и за освобождение которой он не пожалеет собственной жизни. Прошло столько лет, а я отчетливо слышу сейчас знакомый голос Лад Убилава и вижу, как в такт словам размахивает он длинными руками и как блестят его всегда чуть-чуть грустные глаза.

Мы помним его спокойным, немногословным, вежливым. Его любили все — и взрослые и его ровесники. В последний раз я по-встречался с Ладом случайно, на фронте, в Крыму, на подступах

к Керчи, то было в феврале 1942 года. В небе проносились вражеские бомбардировщики. Наш грузовик стоял у развилки дорог. Минута проехала машина с солдатами, и вдруг среди них я увидел Ладю. Но машина промчалась, не останавливаясь, мимо, а Ладю махал мне рукой и что-то кричал. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, в памяти моей всплывает то холодное февральское утро, я слышу гул бомбардировщиков и вижу друга молодости. Он стоит в машине, которая проносится мимо меня, и что-то кричит мне, размахивая руками...

Пока живы мы, его ровесники, мы будем помнить Владимира Убилава, а поколениям, пришедшим нам на смену, напомним о погибшем в суровую войну поэте его единственная небольшая книжка.

Реваз МАРГИАНИ

Владимир УБИЛАВА

В СЕЛЕ ОСЕНЬЮ

Ты в душе, осенняя Добера,
Ты в душе и в памяти моей,
И моей признательности мера
Не иссякнет

до скончанья дней.

Листья ив,

зеленый дым махорки...

Эти ребятишки нагишом,
Маленький наш домик на пригорке,
Дедовским покрытый камышом.
В памяти, загадочной и древней,
Жил всегда, Добера,

этот сад:

Лозами увитые деревья,
Солнечный, прозрачный виноград.
Что за время в мире необъятном,
В этих очарованных горах!
В пору сказки сказывать ребятам,
Мифы о героях и богах.
Веют древнегреческие ветры,

Лопаются сливы на весу...
Этот миг —
 пронзительный
 и светлый —
Навсегда
 с собою унесу.



РОДНОЙ ОЧАГ

Бледный вечер в молчании верб,
Только скрипнет калитка порой, —
Словно дедовский сточенный серп,
Белый месяц под белой горой.
Связка книг за спиной у меня,
Завтра вновь комячейка с утра,
Ни минуты свободной, ни дня,
Только звездная эта пора.
Я, как гость, заявляюсь домой.
Десять дней не пускали дела, —
Вот Ильич на стене меловой,
Вот хлопочет отец у стола.
В доме новый очаг,
 у огня

Дед газетой шуршит не спеша,
Мать в слезах обнимает меня:
Изболелась за сына душа.
А отец — полководцу сродни —
Озирает уставленный стол:
— Выпьем, сын, за мои трудовни,
За Совет

 и за твой комсомол!
Обогретый родимым теплом,
Засыпаю, обласкан и рад, —
И всю ночь за оконным стеклом
Мелодично звенит пережат.

«СЧАСТЛИВЫЙ ТЫ...»

— Счастливый ты! — я часто слышал,
Когда с собранья приходил.
Дед не любил сидеть под крышей —
Все дни под липой проводил.

Согбенный и от хвори бледный,
Он мне навстречу привставал:
— Скажи, как держим шаг победный,
Врага сражая наповал?
Что слышно там про англичан?.. —
(Дед все доступные газеты
В большую лупу изучал).
И я рассказывал о странах,
Признавших нашу правоту,
О перевыполненных планах,
О людях — в славе и в поту.
Что крепнет воля год от года
И все стоят к плечу плечом,
Что побеждаем мы природу
И нам стихия нипочем.
А солнце к западу упало,
И следом выплыла луна,
Роса на травах проступала,
Цветы пьянили допьяна.
— Счастливый ты! — и дед со стоном
Взбирался трудно на крыльцо.
Светилось в сумраке зеленом
Его поблекшее лицо...
Он не отсталый,
 он усталый:
Ослаб от старости металл....
Он спит теперь
 под липой старой,
Где жить
 по-новому мечтал.

ГОЛУБЬ

В двенадцать лет
 поймал я голубенка,
Чтоб вырастить и выпустить в саду.
Я уходил —
 он мне смотрел вдогонку,
Уверенный, что к вечеру приду.
Но мне досталась дальняя дорога,
И я вернулся через много лет —

Оглядываю комнату с порога:
Все как тогда,
 лишь голубенка нет.
Он что-то знал,
 он в стекла грудью бился,
Роняя пух со слабого крыла,
И вырвался,
 и свечкой в небо взвился,
И повстречал над крышами орла.
Над сеновалом перышко кружилось,
Скрипела равнодушная арба...
Все было то же...
 Лишь судьба свершилась.
Теперь я знаю:
 страшная судьба.

ПОЭТ

Виновен ли
 он в шелесте своем —
Дуб исполинский
 с кроной необъятной,
Под вихрем
 и под легким ветерком
Он говорит
 то громко,
 то невнятно.
Освистан ветром,
 солнцем озарен,
Он каждой малой веточкой озвучен, —
Случайный путник,
 знюем изнурен,
Найдет покой
 в тени его могучей.
Напьется из живого родника,
Воспримет сердцем
 шум широколистый...
Таков поэт,
 чья участь — нелегка,
Чья сила велика
 и бескорытна.

СОЛНЦЕ КРУГОМ



Только солнце
и вьюга —
Лепестковый полет,
Серебрится округа,
Стоголосо

поет.

Море лезет на мели,
Волны катят грома, —
Соловьи очумели,
Посходили с ума.
Так светло и лучисто,
Так безоблачно мне
В море солнца

и свиста,

В соловьиной весне.

Мир мой,

радости полный,

Век мой, полный огня,

Эти белые волны

Вдаль уносят меня.

Никакие запреты

Не разлучат с тобой.

Вьются песни и ветры

Над моей головой.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ждет волчонок мать-волчицу,
А лисенок ждет лису.
Медвежонку плохо спится
В зимнем сумрачном лесу.
Небо рано потемнело,
Холод жуток в декабре, —
И скулят они несмело,
Каждый в собственной норе.
Спи, мой сын, не будь упрямым,
Возвратится наша мама.
Баю-баюшки-баю —
Я на кухне постою.
Принесла в зубах волчонку

Мать гусиную печёнку,
Притащила и лиса
Сыну крылышко гуся.
И в лесу давно умолк
Одинокый папа-волк.
Баю-баюшки-баю —
Я прилягу на краю.
Ты проснешься — солнце встанет,
На карнизе снег растает...
На карнизе и в душе, —
Подрастай и хорошей.
Слышишь — дверь открыла мама
И проходит в спальню прямо,
Принесла тебе конфет,
Папе — пачку сигарет...
Хорошо, что мы не спали:
Ничего не прозевали.

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ

Когда я,
возвращаясь издалека,
Увижу дым над отчим очагом,
Услышу смех ребячий у потока,
Как этот мир
и этот смех знаком!
То я смеюсь,
разбрызгивая воду,
То я бегу тропинкой полевой,
И солнце позабытого восхода
Пылает над моею головой.
Привет полям!
Едва глаза открылись,
Я видел вас.
А вот мои следы.
Они совсем, совсем не изменились,
Хотя немало утекло воды.
Тверды колосьев белые кораллы,
Иду, едва виднеясь над травой, —
Опять душа зажглась и просияла,
Колхидской опьяняясь синевой.
И облака стоят, как неживые,

А надо мной лишь посвист птичьих крыл...
Привет полям, которые впервые
Увидел я,
едва глаза открыл.



* * *

Тетерева

поют оленям песни,
Плененные точеной красотой,
Лесной ручей
для лилии прелестной
Звенит своей
бессонною водой.
Молчит олень,
не ответится лилия,
Ручей бежит все дальше,
от бессилья
Не в силах в песне
выразить тоску.

Вот я стою,
любовью опаленный,
От прошлого —
ни звука, ни следа.

Я тот ручей,
Я тот ручей влюбленный,
Я твой сегодня,
завтра
и всегда.

Так хочется
ребенком быть неловким,
Согретым
и приласканным тобой,
Но я иду
путем своим
нелегким,
Сгибаясь
под мужской своей
судьбой.

Уткнуться бы лицом
в твои колени,
Всю боль и нежность
выплакать свою!

Пою тебе, как тетерев оленю,
Как лилии — ручей,
тебя пою.



ПЕРВЫЙ КОСТЕР НА УШБЕ

Не спит Сванетия:

на Ушбе

Зажегся в сумерки костер,
И кое-кто хватает ружья —
Палит картечью

в склоны гор.

И лязгают кинжалы в ножнах,
И мой сосед на слово смел:
— Какой бродяга

и безбожник

Так богохульствовать
посмел?

Бог,
попирая дикий камень,
Тысячелетия подряд
Стоит хрустальными ногами
Как раз на Ушбе,
говорят.

Его владенья
нерушимы.

Он поглядит
огнями глаз —

И снег растает на вершинах.

И воды
ринутся на нас! —

Сопит сосед
и чешет темя,

О, вековая темнота!

— Молчи, старик!

Другое время, —

Иль ты не понял
ни черта?

Ты, может,
просто видишь плохо?

Костер
над самой головой —

Ведь это новая эпоха,
Ее гонец

передовой.

Теперь другие грянут громы,
Старью гореть в другом огне, —
Герой тот,

истиной ведомый,

Победу справил
в тишине.

БЕССОННИЦА

Ни шелеста, ни звука...

Я один,

Еще пером не тронута бумага...

Нарциссы пьют

томительную влагу

Из чашек алебастровых куртин.

Бессонница —

Сгоранье на ветру,

Неясных строк

нелепое круженье,

Поэзия —

любовь, самосожженье,

Ознобное прозреньё поутру.

Вот входит море

в комнату мою,

Шумит земля бессмертными лесами,

Летит, летит

под всеми парусами

Могучий кедр

у бездны на краю.

О песнь моя!

И ты лети, лети

Над миром бесконечным

и понятным,

Таким привычным

и таким превратным —

И все же

неразгаданным почти.

Сижу я,

Самого себя дразня,



Простится ли бессонница поэту?..
Но верю,
 что сегодня песню эту
Подхватят незнакомые друзья.
Я сам
 как кедр у бездны на краю,
Но станет песня
 многими любимой
За чистый звук,
 живым необходимым,
За вечную бессонницу мою.

НА РАЗВАЛИНАХ

Видят башня
 и крепость
Колхиды старинные сны.
Здесь волна запекает
 на древний военный мотив,
Здесь врага сокрушали
 защитники этой страны,
Здесь они умирали,
 последние стрелы пустив.
Тролетели столетья —
 и ветер развеял золу:
Вот обломок кинжала,
 разбитого шлема кусок,
Полированный череп
 блестит на оплывшем валу,
И в пустые глазницы
 набился тяжелый песок.
Здесь фиалки растут
 на развалинах грубой стены.
В уцелевших бойницах
 морская стоит синева.
О Колхида моя!
 Не забылись жестокие сны,
Кровь героев впитала
 упрямая эта трава.
Провожая любимую,
 слушаю шелест веков



041935941
1988

И пустынной полыни
 пронзительный запах люлю¹
Слышу: стрелы свистят,
 слышу звоны мечей и оков
И сухими губами
 шепчу роковое — люблю!

БАТА

...Тебя ведут к морю, Бата, —
Кинжал у меня в груди.
Ты плачешь,
 ты стала рабыней, —
Ждет смерть меня впереди.
Фелюга поднимет парус,
Вода застучит в борта,
А в темном трюме лишь стоны
И тяжкая
 духота.
Как горько
 ты плачешь, Бата!
А я в болоте лежу,
Глазами,
 от боли сухими,
Твой парус
 не нахожу.
Мне ветер шепчет о прошлом,
И стоны стоят в ушах:
Здесь тысячи тысяч вольных
Зарезал персидский шах.
На скалах
 засохшей кровью
Начертаны их имена, —
Здесь проданы были в рабство
Народы
 и племена.
На этой проклятой дороге
Урмули¹ пелась в тоске,
Здесь
 умирали мегрелы

¹ Урмули — песня аробщика.

На мелком, как пыль, песке.
Здесь стала рабыней Бата,
Здесь голос ее дрожал, —
Спасти ее,

сделать свободной
Не смог даже мой кинжал.
Не смог я,

не смог осилить
Две сотни лихих гостей!..
О, Бата!

Я умираю...
Болото полно костей.

УТУ МИКАВА

Снимите шапки загодя, друзья:
Могила эта

души возвышает,
Он здесь лежит —
И галочья возня
Его спокойным мыслям
не мешает.

Кузнец Микава...
Давние дела.

Он сильным был,
хотя и не из статных,

Его слова,
его рука вела
И направляла гнев
на супостатов.

«Поля мы засевали —
но бедны

И голодны
с рожденья и до смерти.

Скажите,
где владенья сатаны?

Где ад?..
Да наша родина, —

Поверьте!»
И все сгорело
в правде этих слов,



И люди обрели
 тройную силу...
Так говорил он
 в роще, меж дубов, —
Теперь дубы
 вокруг его могилы.
Звучат их кроны,
 как колокола,
Они телами сгрудились
 тугими...
Кузнец Микава...
Давние дела,
Вовек незабываемое
 имя.

* * *

Накинув русскую шинель,
Грузин проходит по траншее, —
Спешит визгучая шрапнель
Живые выискать мишени.
Но он пройдет
 сквозь этот ад,
Джигит —
 герой и победитель.
Советской Армии солдат,
Грузин Шалва —
 народный мститель.
Наш полк
 по плечи в землю врос,
Стоим в окопах, не сутулясь, —
Не рвать врагам тбилисских роз,
Не видеть им
 московских улиц.
Победа — русскому штыку,
Он все острее
 год от года,
Победа горскому клинку,
Ура! — единому народу.

* * *

Утром,
 вытянув шеи,
Разомлев от тепла,

Видим мы из траншеи,
Что сирень расцвела.
Бело-розовым дымом
По плетням улеглась,
Как привет
от любимых,
Ожидающих нас.
И плывут
самоходки
В белизне,
в синеве.
И кусты —
словно лодки
На зеленой траве.
Взгляд метался —
лукавый,
Жизнь,
что прежде была,
Но снарядная лава
Сорвалась
и пошла.
Смерть
живое косила,
В муках корчился день,
Вся в разрывах тротила
Задышалась
сирень.

ФРОНТОВАЯ СЕСТРА

Когда он шел на пулеметы
В колючем облаке свинца,
Герой —
один он стоит роты
В священной ярости бойца.
Когда он пал
на поле боя,
Прижав подсумок
к животу,
Травы не чуя под собою,
Он грузно ухнул
в темноту.

Земная твердь качалась,
гнулась,
И дым в глазах,
и боль остра...
Но подползла и улыбнулась
Ему усталая сестра.
Все было:
бред — и сумрак зыбкий,
Горели раны,
как костры...
А он запомнил лишь улыбку
Той —
самой ласковой сестры.

Перевод Игоря ЖДАНОВА

РАССКАЗЫ

ВОТ ФИАЛКА

(ЭТЮД О ГОРОДЕ)

Вначале была любовь. Ночная мгла лежала на холмах Грузии, и где-то в этой мгле пылкий Мцыри душил на своей груди барса. Неземной красоты дева сбрасывала в ущелье влюбленных в нее юношей, а Георгий Саакадзе скакал на горячем скакуне по самому краю пропасти.

Страна, в которую играли в детстве и о которой в юности мечтали. Должно быть, еще и оттого, что всего этого — холмов, барсов, пылкости и неземной красоты так не хватало среди наших равнин, снегов, залитых асфальтом дворов и чахлах городских скверов.

Но и собирались долго, не ехали — все оттого же. Куда ехать, если все это давно уже было с тобой, неуиденное казалось знакомым до подробностей. И тем не менее наконец едем. Вот уже идем, шагаем по улицам этого города, смотрим во все глаза, минуем квартал за кварталом, перекресток за перекрестком. Уподобляясь при этом иголке, которая методично нанизывает одну яркую бусину за другой. А позади длинными нитями тянутся пестрые гирлянды впечатлений, которые потом уже, когда придет время, можно будет перебирать, рассматривать, вспоминать и грустить от разлуки.

Простите, конечно, за сентиментальность. Мы ведь и сами прекрасно знаем, что сентиментальность — чувство поверхностное и мелкое, в серьезном разговоре вовсе неуместное. Только здесь и в самом деле трудно удержаться от того, чтобы не ахнуть пораженно, не вздохнуть, не пробормотать что-то из набора вполне бессмысленных слов вроде: «паразительно», «великолепно», «прекрасно».

Но послушай, Джаба, ты-то живешь в этом городе с самого своего рождения, окна твоего дома смотрят прямо на набережную, так что и река со всеми ее преледесами на ее берегах давно уже перестала тебя удивлять. Надо думать, что тебе порядком надоели и восторги приезжих, которые каждый раз принимаются разглядывать твой город так, словно создан он господом богом только для того, чтобы исторгнуть умильные восклицания из уст этих сентиментальных мучнистолицых северян.

Ты спрашиваешь — а в голосе твоём усталость от заранее угаданного ответа — что же нам понравилось больше всего. И я тебе скажу: больше всего — люди и деревья. Не только оттого, что красивы — глаз не отвести (забывая о правилах приличия, то и дело оглядываешься на идущих навстречу красавиц и красавцев, а потом как дикарь тычешь пальцем в ствол гиганта-платана, чтобы убедиться: дерево сбрасывает шкуру, точно змея). Еще и потому, что между ними замечаешь странное притягивающее сходство. Так, например, совершенно одинаковым оказывается у тех и других редкое достоинство осанки. И еще одно: явная, угаданная с первого же взгляда способность к полету.

Это последнее качество становится очевидным, едва лишь открывается перед тобой перспектива улицы с шеренгами огромных деревьев, в тени которых стоят и неспешно беседуют группы мужчин, женщин, подростков. Широкие, тяжелые ветви-крылья, распростертые над проезжей частью, чуть шевелятся под ветром, и отчетливо видишь, что это — деревья-орлы, что здесь, на проспекте, они не навсегда, что их ждут не дождутся где-то там, на кручах, за горами.

И представьте себе, о людях, населяющих этот город, можно сказать то же самое. Стоит им только шевельнуться, заговорить — не для собеседника же эта рвущаяся на простор пылкая энергия. Да и сам собеседник уже рванулся точно так же навстречу, привстав на носки, плечи развернуты, руки пришли в движение, вскинута над головой, вот-вот совсем оторвется от земли. И речь обоих — страстная, напряженная, глухо рокочущая... напоминает шум заведенного, готового к работе авиационного мотора.



Что же касается жестов, которыми непрерывно обмениваются беседующие, то об этом вообще разговор особый.

Ты живешь здесь, и тебе, конечно, в голову не придет любоваться взлетающими в воздух руками твоих соплеменников, как не замечаешь ты и того, что выдвигают во время разговора с другом твои собственные руки. А вот я, представь, нигде и никогда не встречала еще столь выразительного, красноречивого и совершенного в своей пластике языка жестов.

Предположим, ты что-то не понял, не допонял или просто показался говорившему не слишком убежденным в его правоте — на помощь приходят руки. Кисть с вытянутыми пальцами скользит параллельно земле, потом внезапно на твоих глазах превращается в нечто крылоподобное, возносится, прочертив в воздухе плавную лебединую линию.

Позже несколько раз я пыталась воспроизвести этот грациозный летящий жест, без толку размахивала руками, но ничего путного у меня так и не получалось. Ведь жест — это всегда внешнее продолжение некоего скрытого внутреннего движения, и повторить его просто так, механически, невозможно. Кроме того, сама значительность и завершенность таких движений — не для женских суетливых рук, здесь требуются сильные и уверенные руки мужчины.

Так вот, в следующий раз, когда вам придется побывать в этом городе, вы непременно должны обратить внимание на жесты, которыми тбилисцы сопровождают свою речь. Уверена, это произведет на вас не меньшее впечатление, чем бронзовый Вахтанг Горгасал на коне, или баня, в которой мылся Пушкин.

В конце концов приходишь постепенно к выводу, что крылатость, окрыленность, летучесть — вообще для этих мест явление не случайное. Начать с того, что птица украшает самый герб города. На нем красуется фазан, подстреленный здесь когда-то удачливым Вахтангом Горгасалом. А под песенку другого Вахтанга — Кикабидзе про задорную птичку-невеличку пляшет сейчас весь город от мала до велика.

Над Мтацминдой же, над площадью Ленина, над Нарикалой и Метехи день и ночь кружат спокойные, крупные птицы, оглядывающие сверху совершенно по-

хозяйски окрестности. Так что нетрудно догадаться: пернатые находятся тут на совершенно особом привилегированном по сравнению с другими тварями положении. Вот и еще один пример этому.

В большой квартире, которая кажется тесной от книг, фотографий, толпящихся постоянно друзей, вас встречает крохотный зеленый полугайчик, восседающий на плече своей хозяйки. Оглядывая гостей, он время от времени поворачивает головку к уху золотоволосой женщины и со снисходительной нежностью щебечет: «Птичка ты моя!». Или еще похлеще: «Собачка ты моя!». Все это произносится на отчетливом русском языке с легким грузинским акцентом.

Такая свобода и непринужденность — не иначе как следствие особых привилегий, которые выхлопотал для своих собратьев у основателя города легендарный синий фазан.

Итак, из птиц мы выбираем фазана, а из цветов — конечно же, фиалку. Цветущей фиалки в парках и садах города я, правда, так и не увидела. Но скромный этот весенний цветок я выбрала за другое. Лишь потому, что первые буквы алфавита, которые маленькие грузины принимают за партами, звучат так: «Аи ня». Что в переводе на русский язык означает — «Вот фиалка».

И так уж тут получается, что, научившись выводить эти буквы, сложив свое первое немудреное предложение, дети приобщаются сразу и к чудесному миру родного языка, и к тому большому миру, в котором светит солнце и цветут цветы.

В конце концов ведь и сама фиалка может считаться символом весны и жизни, красоты и мужества. Потому что каждый год, несмотря ни на что, распускается она в затоптанных нашими ногами лесах и полях, с мужественным постоянством цветет на искалеченной, израненной нашими машинами земле. словно бы в награду всем тем, кто помнит об этом сияющем цветке и повторяет на родном языке его имя..

Ну да, но ведь это все — только о внешней стороне городской жизни: деревья, улицы, прохожие, птицы и цветы. А что же там, внутри, за стройными балюстрадами балкончиков, перепоясывающих фасады старых домов, за массивными дверьми подъездов, за белыми,

выпорхнувшими легкомысленно из комнаты в переулок занавесками?

Ничего особенного. Там темноокая Анико на общей кухне месит тесто для хачапури. Дали, похожая на девочку-школьницу, обложившись словарями, переводит Томаса Манна, пользуясь тем, что собственные ее дети еще в школе, а муж не вернулся с работы в компании шумных и голодных друзей. В прохладной просторной комнате тоненькая Додо потчует гостей кофе по-турецки, а потом, взяв перевернутые чашечки, гадает каждому из них на кофейной гуще. В застекленной лоджии с завешанными от солнца шторами резвая Ламара скачет на одной ножке вокруг круглого стола, который тоже держится на одной ножке, хотя и не скачет. А из кухни вместе с бульканьем воды в кране доносится до нее, ничуть не мешая ей заниматься своим делом, ворчанье бабушки Нино.

А вот и еще одна живая картинка, окаймленная словно багетом темно-зелеными распахнутыми дверьми гаража. Вокруг новенькой, блистающей свежей эмалью машины в благоговейном молчании застыла целая семья, включая и маленьких детей. Они собрались здесь точно так же, как когда-то собиралась вокруг единственной коровы-кормилицы крестьянская семья.

А вот шагает по самой середине улицы толстый веселый человек, несущий на вытянутых руках бережно, словно новорожденного младенца, новоиспеченный лаваш. А вот молодая женщина в яркой косынке над ярким темнобровым лицом щедро выплескивает на мостовую круто бегущей в гору улочки полный таз мутной воды. Прохожие — молодые парни, настигнутые мыльным потоком, заразительно смеются и перепрыгивают через лужи...

И начинает понемногу казаться, что на холмах этой страны даже печаль, если она и существует, обязательно должна быть легкой и светлой. Такой, какую ощутил здесь однажды великий поэт. Но между тем друга, к которому я так долго собиралась приехать, нет уже в живых. Между тем ничего светлого нет в печали двух других моих друзей, живущих в этом городе. Лица обоих сумрачны и сосредоточены, а утешить их мне нечем.

— Все обойдется! — заверяю я их. — Вот увидите, все кончится хорошо. Ваши стихи еще будут заучивать наизусть школьники, вас еще полюбят прекрасные женщины...

Они усмеваются, соглашаясь со мной, кивают, однако грустить не перестают. И наоборот, мне самой делается грустно оттого, что помочь им я ничем не могу.

И в самолете на обратном пути передо мной, затуманенной слегка от обилия промелькнувших картин, звуков, запахов, голосов, встают вдруг не горы с розовыми пятнами цветущих по склонам деревьев, не темный силуэт прославленного монастыря и не подвальныйчик с обшитыми дубовыми панелями стенами, а два — светлоглазое и темноглазое — печальных лица. И не выскочить мне уже из глубокого кресла, где я сижу, пристегнувшись ремнем, не броситься назад, не поговорить, не утешить еще раз. Да и что еще могла бы я сказать им напоследок?

Я вытягиваю из сумки блокнот с исписанными вдоль и поперек страницами, отыскиваю одну, где нетвердой рукой выведено несколько похожих на вспененные волны букв незнакомого еще языка.

— Аи ия! — говорю я вслух и обращаюсь при этом мысленно к ним, оставшимся внизу. В надежде, что, расслышав эту неумело выговоренную фразу, Володя улыбнется замечательной своей улыбкой, а Джаба издаст легкое, похожее на выдох восклицание — что-то вроде протяжного «а-а!» — и летящим жестом вскинет над головой руку с раскрытой в мою сторону ладонью.

ЗВЕНЯЩЕЕ МОРЕ

Ранним утром (а им спросонья показалось — ночью) зашумел под окнами автобус, и они проснулись. Автобус уже двигался, огибал их корпус, утробно урчал и астматически задыхался. Они обе зашевелились в своих постелях, подняли от подушек головы. Скучный утренний свет проникал в комнату сквозь легонькую ситцевую занавеску, по потолку ерзала бледная тень дерева.

— Безобразие! — охрипшим после сна голосом заговорила ее соседка по комнате. — Дом отдыха называ-

ется! А людям отдыхать не дают. Нас в прошлом году в восемь туда возили, и ничего, прекрасно успели.

Услышав эти слова, она вдруг вспомнила, что сегодня суббота и что в столовой уже три дня висело объявление об очередной поездке отдыхающих на городской рынок «барахолку». Она сонно поинтересовалась, что там есть, на этой барахолке.

— Да ничего там особенного нету! — раздраженно отвечала соседка. — Что у них, то и у нас. Мех, правда, можно достать недорого, нутрию. Я в прошлом году дочери отсюда на воротник привезла. Вот такую...

Лежа на спине, соседка выпростала из-под одеяла руки, вскинула их над головой, расставив ладони, чтобы показать, какого размера была нутрия.

— А больше ничего интересного там не видела. Не советую вам ехать, время только зря потеряете.

— Я не поеду, — сказала она, — я и денег с собой совсем немного взяла.

— Ну это вы напрасно, — осудила соседка, — сюда, в Прибалтику, обязательно нужно деньги брать. У них снабжение хорошее.

Лениво, сквозь дремоту переговаривались они о том, о сем до той поры, когда надо было уже подниматься и идти в столовую завтракать. Из столовой же сразу после завтрака отдыхающие один за другим заторопились к пляжу. Стояли самые последние теплые дни, и всем хотелось провести их у моря.

Они тоже собрались было на пляж, надели купальные костюмы и халатики, сложили в купленные уже здесь яркие целофановые сумочки махровые полотенца. Но тут вдруг соседка дозналась, что в их местный сельмаг только что завезли партию арбузов. Она уговорила ее пойти и занять очередь за арбузами, а к морю отправиться позже.

Когда же они наконец купили арбуз и отнесли его к себе в палату, времени уже было немного.

— Ну и что? — сказала на это соседка. — На пляже сейчас все равно долго не просидишь. С моря всегда ветер холодный дует. Повалеешься за дюной с полчаса, и тебя уже домой тянет погреться.

Они взяли свои одинаковые сумочки и направились к дороге, ведущей на пляж.

Прямая как стрела, залитая асфальтом дорога сначала поднималась вверх, на дюну, откуда открывался прекрасный вид на окрестности, а потом спускалась вниз и почти до самого моря шла лесом. В воздухе над их головами то и дело мелькали облетающие с деревьев сухие листья, с едва слышным шорохом приземлялись они на синеватую полосу асфальта. Среди листвы видны были красные рябиновые гроздья, а вверху за обнажившимися ветками проглядывал слепящий глаз солнца. И хотя время уже близилось к полудню, у солнца, уставшего за лето, не было сил добраться до середины неба. Оно висело низко над лесом и тоже было похоже на спелый осенний плод. Лес кончился внезапно у подножия песчаных холмов, за которыми скрывалось море. Но еще издали, в лесу, она услышала его запах и беспричинно заволновалась...

На пляже в этот день было даже жарко. Слабый ветерок шевелил сухие песчинки, подгонял к берегу невысокую волну. Кое-где на песке видны были распростертые тела загорающих, вдоль кромки прибоя, согнувшись, брели собиратели янтаря. В воде, близко от берега, плескался единственный купальщик — белотелый полный человек. С берега поощряли его шутками и смехом приятели.

Они с соседкой отыскивали два полузасыпанных песком ящика, подтащили их поближе к воде и, скинув халатики, уселись загорать в трусиках и лифчиках.

— Я обожаю, — сказала толстая соседка, — загорать без ничего. Для организма это очень полезно. На юге я всегда обнаженная лежу на пляже. А здесь, видите, даже женского пляжа не могли оборудовать. А еще говорят — культурная республика.

Она ничего не отвечала соседке, наслаждалась ласковым теплом, которое медленно растекалось по коже. У самых ее босых ног то и дело тяжело хлопала по песку тугая волна.

— Вода сейчас, наверное, холодная, — снова заговорила соседка, — а на юге в это время бархатный сезон...

Она отвернулась от соседки, подняла голову и прислушалась. Ей показалось, что издали, из глубины

морского простора долетает к ней тонкий переливчатый, очень мелодичный звон.

— Что это звенит? — спросила она.

Соседка удивилась:

— Звенит? Я не слышу.

Она снова прислушалась к далекому звону и вско-
чила на ноги.

— Я, пожалуй, выкупаюсь. Такой погоды, наверное, больше не будет. Сентябрь ведь...

— Не советую, — покачала головой ее спутница. — Радикулит можно получить или еще что-нибудь похуже. Смотрите, никто и не купается. Мужчина только один плавал и вон, бегом побегал из воды. Промерз, наверное, до костей, бедняга.

Человек, плескавшийся недавно в море, действительно бежал теперь мимо них по песку к выходу. За ним с хохотом двигалась толпа его приятелей.

— И белый флаг висит, — продолжала соседка, — это значит, что сегодня небольшой шторм ожидается.

Над крышей домика спасательной станции, двери и окна которой были уже заколочены по случаю закрытия сезона, болталась выцветшая до белизны тряпка.

Она засмеялась:

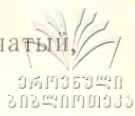
— Да этот флаг здесь все время висит. При любой погоде.

Она натянула на голову белую резиновую шапочку с выпуклым рисунком ромашек и поежилась, ступив босой ногой на мокрую холодную гальку.

— Далеко не уплывайте! — крикнула ей вдогонку соседка, когда она, зажмурившись, уже упала ничком в несущуюся навстречу волну.

Она и не собиралась уплывать далеко. Но, подхваченная волной, почувствовала вдруг, как обожгло ее резко холодом, свежестью, пронзительным счастьем, от которого у нее закружилась голова. Волна, оттолкнувшись от берега, зачерпнула в широкую горсть прибрежный песок, камни, ее и, как неводом, потащила за собой добычу. В самое лицо ее влажно задышал распахнутый широко простор, а отдаленный мелодичный звон, который она слышала на берегу, сделался отчетливым и близким.

Только на одну секунду вскинула она над водой голову, вдохнула напоенный ароматом моря воздух и,



задыхаясь, ликуя, боясь отстать, рванулась вперед к новой, летящей к берегу волне. Кинулась в нее, растворилась и потекла куда-то вместе с мерцающей зеленью воды, шипеньем белой пены и тонким свистом ветра в вышине...

Соседка на берегу, потеряв ее из виду, привстала с ящика и в тревоге оглядела волнующееся море. Ничего не увидев в нем, она громко окликнула ее по имени, растерянно посмотрела по сторонам и крикнула еще раз. А потом уже, теряя босоножки, оглядываясь то и дело назад, невнятно что-то выкрикивая и ловя воздух раскрытым ртом, понеслась по песку к видневшимся вдалеке людям.

Еще через несколько минут по пляжу с испуганными лицами бежали уже человек десять.

— Спасателя! — багровея от бега, выкрикивал низенький коротконогий человек в полосатых брюках и белой панамке, которую он на ходу придерживал рукой.

— Надо спасателя искать! Он рядом с домом отдыха живет!

За ним, чуть отстав, трусила группа женщин во главе с соседкой, заламывающей в отчаянии руки. Одна из женщин помоложе, догадавшись, срезала дорогу и бросилась через дюны к шоссе, чтобы остановить одну из проезжавших машин.

Минут десять спустя пляж стал заполняться неизвестно откуда взявшимся народом. Разбрасывая колесами песок, к воде подкатила синяя машина «Жигули», откуда на ходу выскочил спасатель — загорелый бело-волосый паренек в плавках с зелеными ластами в руках.

— Где?! — крикнул он столпившимся у воды людям. — В каком месте?

Соседка рванулась ему навстречу.

— Там! Вон туда она поплыла, в том направлении надо искать. Я ей говорю: не ходите, не ходите, ради бога! Флаг висит запрещающий, это же верная гибель...

Но спасатель, обутый в ласты, уже бежал по мелководью, тяжело шлепая по воде и поднимая фонтаны брызг.

— Потонет еще, — всхлипнула соседка. — Теперь и этот парень утонет.

— Этот не утонет, — успокоил ее человек в белой панамке. — Это же спасатель, специалист...



На пляж въехала еще одна машина — газик защитного цвета. Из нее один за другим выскочили четыре милиционера.

— Как это случилось? — строго спросил расступившуюся толпу молодой лейтенант. — Кто свидетель несчастного случая?

— Я-а-а, — плаксиво отозвалась соседка и торопливо начала влезать в рукава своего халатика.

— Мы с ней вот здесь сидели, на ящиках. Я ей говорю...

— Подождите, гражданочка, — остановил ее лейтенант. — Кажется, спасатель что-то нашел.

Но спасатель, показавшийся в этот момент из воды, только помахал над головой рукой и снова нырнул. Теперь на берегу все молчали и, волнуясь, смотрели на то место, где исчез под водой спасатель.

— Что-то он долго... — задумчиво сказал человек в панамке.

— Да-а, — неопределенно протянул лейтенант.

— Утонул он! — нервно выкрикнула соседка. — Я же говорила — утонет.

Теряя силы, она опустилась на ящик.

Тем временем молодой спасатель и в самом деле почувствовал, что тонет. Свинцовой тяжести волна, не дав ему вынырнуть, навалилась сверху, перевернула, и он, потеряв ориентацию, беспомощно забарахтался среди мятущихся, терзающих его потоков.

Тогда она тихо скользнула ему наперерез, подплыв сзади, обхватила его руками за спину и с силой толкнула сквозь толщу воды вверх. И он, выбравшись наконец на поверхность, жадно глотнул воздух, проплыл саженками и встал у берега на ослабевшие ноги.

— Никого там нет, — сказал спасатель, откашливаясь и отплевываясь. — Все дно обшарил. Я и сам чуть было не утонул.

Он вышел на берег и прилег на теплый песок отдохнуть.

Лейтенант нагнулся к сидящей на ящике соседке:

— А может быть, она домой пошла? Просто ушла с пляжа, надоело ей загорать, а вы и не заметили. Вам просто почудилось, что она там, в море.

— Как это почудилось?! — почти в истерике закричала соседка. — Куда она ушла! Вот ее халат лежит, и

тапочки вот. Она мне говорит: пойду искуплюсь, а я ей...

Лейтенант отвернулся и сказал несколько явшему рядом милиционеру. Тот быстро стащил с себя форму, скинул сапоги и, когда остался в одних трусах, рысцой побежал к воде. За ним следом пошлепал в своих ластах и отдохнувший спасатель. Отплыв немного от берега, они принялись нырять теперь уже вдвоем.

К пляжу между тем тянулись все новые, прослышавшие про несчастье люди. У воды раздавались испуганные восклицания женщин, возбужденные голоса расспрашивали о подробностях. Соседка, восседавшая в окружении густой толпы на ящике, в который уже раз причималась рассказывать:

— Мы с ней вот здесь сидели. Она — на том ящике, я — на этом. Вдруг она вскакивает и прямо к морю. Я ее прошу, умоляю: не ходите, нельзя сегодня купаться, видите — белый флаг вывешен, волна большая. Зачем же гибель свою искать? А она и слушать ничего не хочет — идет. А меня вдруг... — понизив голос и вытаращив глаза, врала и верила себе самой соседка, — как током пронзило. Предчувствие какое-то было. Я поняла, что сейчас обязательно что-нибудь страшное случится. Я за ней бегу, кричу ей: — Вернитесь! Не ходите! А она несется вперед, не оглядывается даже. Словно ее туда тянет что-то...

— Судьба! — многозначительно заметил тут один из новоприбывших — лысый мужчина в голубых шортах.

— Вот именно, вот именно! — обрадованно закивала соседка. — Я в тот момент как раз это и подумала. И представляете, как назло людей поблизости никого не было, многие уже на обед пошли. А сама я плавать не умею. Да и сердечница я, мне нельзя. Не знаю еще, как я все это переживу, чувствую, что сама не выдержу.

— Лежит она теперь, бедняжка, где-нибудь на дне, — скорбно проговорила одна из женщин, — и не доныряешься до нее.

Она и в самом деле лежала, удобно устроившись на мягком дне, и смотрела большими прозрачными глазами на сплывающих вокруг нее спасателя и милиционера в черных трусах.

На берегу начальник милиции в это время громко объяснял собравшимся:

— Море, оно само выбросит. Море чужого не берет. Рано или поздно оно все выбрасывает, что ему не нужно. Мы-то знаем...

— Много тонет? — деловито поинтересовались голубые шорты.

Она пошарила по песку руками, отыскала застрявшую среди камней свою резиновую шапочку, сильным рывком подбросила ее над головой.

Начальник милиции встрепенулся и прямо в сапогах побежал по воде, догоняя мелькнувший в волнах белый предмет. Подхватив шапочку, он, торжествуя, закричал:

— Ну, что я говорил?! Море все выбросит. Это ее шапка?

— Ее, ее, — подтвердила соседка. Она глядела на купальную шапочку с ромашками, и на лице ее был написан ужас. С шапочки на песок струйкой стекала вода.

Между тем спасатель и помогавший ему милиционер уже вылезли на берег.

— Товарищ начальник! — бодро доложил мокрый, голубоватый от холода милиционер, — утопленного тела нами не обнаружено.

— Так, — мрачно буркнул лейтенант и в досаде отшвырнул от себя ногой плоский камешек. — Значит, отнесло ее. Придется докладывать об утоплении в город. Одевайтесь, Сидоров! Одежду ее пока заберем с собой. Вещественные доказательства.

Отдыхающие, которые до этого толпились у воды и разглядывали пустынное море, начали понемногу расходиться. Газик защитного цвета умчал работников милиции вместе с вещественными доказательствами. Вслед за газиком уехала с пляжа и синяя машина спасателя. Соседку с двух сторон подхватили под руки женщины из дома отдыха, за ними, жадно прислушиваясь, двинулись остальные.

— Мы с ней с утра за арбузами стояли, — охотно излагала соседка. — Купили арбуз и отнесли его в палату. И что бы нам тогда сразу сесть и съесть его, а на пляж не ходить! Я сама и не хотела идти, мне внутри какой-то голос твердил: не ходи, не ходи! А она — ни в какую, пойдем да и все. Ее туда сила какая-то увлекала. Она даже загорать не стала, чуть присела на ящик,

а потом сразу и кинулась... Боже мой, я чувствую, что заболела от всего этого. Уверена, что к вечеру свалюсь с приступом стенокардии.

Позади нее сейчас же отозвался хор сочувствующих и утешающих голосов.

Пляж наконец опустел совершенно. Сделался слышным шорох, с каким ветер перекатывал с места на место сухие песчинки. К глуховатому рокоту волн прибавился теперь усталый шелест увядающего за дюнами леса. Чайки, которые только что с тревожными криками проносились над головами людей, опустились теперь на воду и закачались в волнах, похожие издали на белые бумажные кораблики, которые мастерят ранней весной дети.

Она приподнялась, легко оттолкнулась от песчаного дна, вынырнула на поверхность и, не спугнув чашек, понеслась в открытое море. Водяные мутно-зеленые валы вырастали на ее пути, обрушивались с грохотом, разлетались во все стороны сверкающими осколками и выбрасывали высоко в небо россыпи мельчайших, загоравшихся на солнце брызг.

Она догоняла бешено мчащуюся волну, с криком радости неслась вместе с ней, взлетала высоко, к самому гребню и падала оттуда в облаке пены вниз, в бездну. И тогда, открыв глаза, видела над собой ярко горящую в лучах солнца семицветную радугу.

Через год, в первых числах сентября она вновь приплыла к знакомому берегу. Привела ее сюда вовсе не тоска по своей прежней жизни, по людям. Она совсем не тосковала по ним. Так же, как не тоскует по своему тесному кокону вылетевшая из него на свободу бабочка. Скорее ее привело в эти места простое любопытство. Она добралась до полосы прибоя и огляделась вокруг. Она заметила, что за это время волны успели изменить рельеф берега. Осенние штормы подмыли дюны, отчего полоска прибрежного песка сделалась шире и казалась более плоской. Метрах в трех от воды вдоль берега выстроились новенькие блестящие от свежей краски лавочки. Но в остальном здесь все оставалось прежним. Окна и двери спасательной станции опять были заколочены широкими досками, а над крышей на длинном шесте дергалась под ветром выцветшая тряпка.

161935920
011010333

Фанерные стены станции со всех сторон были обклеены цветными плакатами. На одном из них из аквариумной воды торчали судорожно растопыренные оранжевые руки утопающего и его круглое, похожее на репу лицо с раскрытым в крике ртом. На другом изображена была утлая лодочка, поднятая волной на дыбы. Из нее, как горох, сыпались в воду люди. Силуэты тех, кто еще стоял в накренившемся суденышке, покрашены были в розовый цвет, те же, что падали в воду, были вообще черными.

Задувал северный ветер и нес с моря туман. Мутные полосы тумана уже нависали над пляжем, ползли в дюны. Отсыревший песок казался теперь не золотисто-желтым, но грязно-серым. По серому песку медленно передвигались редкие человеческие фигуры, неуклюжие из-за окутывающей их теплой одежды. За каждой из таких фигур волочилась по пляжу безобразная скорчившаяся тень.

Она вышла из воды и уселась неподалеку от скамейки на песок, испещренный трехпалыми следами чаек. На ярко-желтой скамейке уже расположились две женщины, укутанные в толстые платки. Перед ними прохаживался взад и вперед высокий человек в плаще-болонье и в маленькой спортивной шапочке на голове. Под его ногами тяжело посапывал мокрый песок.

— В прошлом году, — рассказывал он своим спутницам, — здесь утонула одна женщина. Как раз вот здесь, в этом месте...

Через ее голову он ткнул пальцем в тихо шевелящуюся воду.

— Говорят, тело трое суток искали и так и не нашли. Сразу несколько отрядов водолазов работало, все дно облазили. А один из водолазов, совсем молодой паренек, сам едва не погиб. Еле его откачали. Тогда шторм был очень сильный, баллов двенадцать. Ну а ее, конечно, отнесло туда, к чужим берегам...

Он опять махнул рукой куда-то вдаль и печально покачал головой.

— И говорят — совсем нестарая еще была, и плавать умела.

Женщины на скамейке разом вздохнули, одна из них сердито сказала:

— Вот и купайся после этого.

А вторая припомнила и рассказала точно такой же случай, происшедший на пляже в городе Сочи.

— Нет, нет, — повторила опять первая женщина, лучше не купаться вовсе. Можно ли так легкомысленно рисковать собственной жизнью из-за какого-то купанья? Я никогда не купаюсь, только обтираюсь влажным полотенцем. И этого вполне достаточно, уверяю вас.

Мужчина в спортивной шапочке, соглашаясь, покивал головой, поежился под порывом сырого ветра, плотнее запахнул свой ненадежный плащ.

— А нас, представьте, вчера на барахолку на автобусе возили, — сообщила та, что рассказывала про случай в Сочи.

Ее спутники, оживившись, повернулись к ней, и начался разговор о ценах на городском рынке.

Но она уже больше не слушала их. «У них все то же самое...» — подумала она и, отвернувшись, зевнула со скуки. Потом резво вскочила на ноги, отряхнула налипший на колени песок и, поднявши веером брызги, упала в воду.

Рассекая волну, гоня перед собой султан пены, она неслась стремительно в свободное, звенящее на просторе море. И сама становилась этим звоном, легкой водяной пылью, пепельным туманом, влажным пахучим ветром.

Валентина БАЛУАШВИЛИ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ОБОРОНЫ

(Некоторые принципы художественного отображения
обороны Кавказа в литературе военных лет)

Яркой страницей вошла в летопись Великой Отечественной войны героическая оборона Кавказа. В первой половине августа 1942 года, когда гитлеровские войска, пользуясь временным преимуществом в технике и живой силе, прорвались на Северный Кавказ, советские воины в жестоких кровопролитных боях, не щадя жизни, отстаивали каждую пядь родной земли, каждый перевал, ущелье.

На передней линии обороны находилась и художественная литература. Писатели, как и воины, присягали Отчизне в верности, клялись не пропустить, остановить и разгромить врага. В известном стихотворении Галактиона Табидзе «Присяга» есть пламенные строки:

Нет, меча мы не опустим! И рожденье и кончина —
Все для той, кого родимой звать я должен и хочу.

Воинская доблесть — традиция грузинского народа. На протяжении веков передается она из поколения в поколение. Верны этой традиции и поэты:

Много доблестная Картли бурь и бедствий повстречала.
В глубине своих ущелий много видывала сеч.
Это — летопись героев; перечти ее с начала,
И с мечами справедливых перекликнется твой меч.

(Перевод В. Шервинского)

Как и Галактион, Ираклий Абашидзе в стихотворении «Поэтам Грузии» дает от имени своих соратников по перу «клятву святую» грудью защитить Родину-мать от посягательств злобного врага:

Бурей испытанные борцы,
Шли мы в бои, не щадили и жизни.

Грузии новой творцы и певцы,
Клятву святую мы дали отчизне.



Грудью величье ее защитим,
Хищников сбросим с земли опаленной,
Слышишь — то брата зовет побратим;
Бьются Советской страны легионы!

(Перевод Э. Ананишвили).

Свою клятву писатели сдержали. Те, кто ушел на фронт — участвовали в боевых операциях, вели политическую работу среди воинов, выступали на страницах красноармейских газет. Те, кто не смогли быть на передовой — выпускали антифашистские сборники и «Окна ТАСС», выступали по радио, в печати, читали свои произведения в госпиталях, на предприятиях. И все они продолжали творческую работу, создавая произведения, вдохновлявшие народ.

Для большинства стихотворений этого времени были характерны напряженная и суровая интонация, гневная речь, форма обращения, призыва, которая отражалась подчас в самих заголовках: «Грузинским героям» К. Каладзе, «Эй, орлы» Г. Леонидзе, «Воину-грузину» А. Абашели. Поэты обращались к защитникам Кавказа, призывая их бесстрашно выполнить священный долг:

Рази врага! Скалою стой в бою,
И будет мир рукоплескать герою.
И я в восторге песнь тебе пою,
С ружьем в руках, над гневною Курою.

(К. Каладзе «Грузинским героям».

Перевод В. Левика).

Поэты не скрывали, что борьба будет трудной и жестокой, но враг должен быть изгнан с кавказской земли! А. Абашели писал об этом:

Сверши же высокое дело!
Нелегкая будет борьба!
Пусть враг не пройдет озверелый, —
Решается наша судьба.

Возжаждавших нашего хлеба
Встречай ты жестоким свинцом!
Победой осветится небо,
Тебя увенчавши венцом!

(Перевод Г. Цагарели).

Декларативность и публицистичность некоторых стихотворений того периода не умаляли их достоинств: стихи вдохновляли и мобилизовывали благодаря огромной силе внутренней убежденности и искренности самих поэтов, а также тому эмоциональному настрою читателей и слушателей, который позво-

для каждой строке дойти до сердца и души. Собранные в самые трудные дни 1942 года воедино в сборнике «Кавказ несокрушим» вместе с патриотическими произведениями писателей Армении и Азербайджана, они представляли собой большую ударную силу. Бывший командующий Закавказским фронтом генерал армии И. В. Тюленев писал, что именно поэтому он так дорожит этой «неказистой на вид книгой».

Особенностью многих произведений, написанных в период битвы за Кавказ, было то, что они создавались по горячим следам событий. Придерживаясь конкретного, чаще всего подлинного имени, факта, действительно имевшей место ситуации, они с документальной достоверностью раскрывали подвиги воинов, их участие в сражениях и битвах. Целью писателей было сохранить имена и поступки героев для потомков и в то же время — воодушевить бойцов, побудить их подражать героям. Если при этом прозаики стремились как можно глубже раскрыть характер и душу героя, истоки его подвига, его мужества, поэты — выразить свое взволнованное отношение к факту. Нередко в лирике использовался обладающий большой художественной силой поэтический прием рассказа от лица погибшего.

Знание жизненного материала позволяло и тем, и другим с необычайной выразительностью и правдой показывать то главное, что в конечном счете определило победу — величие духа советского воина, силу его убежденности в правоте дела, за которое он отдаст, если это требуется, самое дорогое — жизнь.

К числу замечательных стихотворений о защитниках Кавказа относится стихотворение И. Абашидзе «Капитан Бухаидзе».

В начале сентября 1942 года в сформированную весной того же года в Грузии 392-ю стрелковую дивизию, державшую оборону на южном берегу Баксана, прибыла делегация трудящихся, в составе которой находились поэты И. Абашидзе, С. Чиковани и А. Мирцхулава (Машашвили). Общаясь в течение десяти дней с фронтовиками, грузинские поэты многое узнали об отваге и бесстрашии своих земляков. Одним из героев был командир батальона капитан Бухаидзе, который, будучи тяжело раненным, продолжал руководить боем. Атаки следовали одна за другой. Но вот совсем близко от Бухаидзе разорвалась вражеская мина и насмерть сразила командира. Стремясь отомстить за него, бойцы, несмотря на шквальный огонь, продолжали атаковать противника и выбили его с занимаемых позиций. Путь гитлеровцам к Дарьялу был отрезан.

Ираклию Абашидзе, взволнованному рассказом, по его же словам, захотелось «сказать что-то очень теплое», «выразить чувство всенародного преклонения перед теми, кто, не щадя жизни, сражается за Родину». Так родилось стихотворение о капитане Бухаидзе. На братском кладбище, где он был похоронен, И. Абашидзе прочитал свое стихотворение, назвав его поначалу «Надпись на могиле капитана Бухаидзе». Через четыре дня стихотворение под заголовком «Капитан Бухаидзе» было опубликовано на первой странице дивизионной газеты «Вперед, за Родину».

Бывший ответственный секретарь этой газеты П. Шатава вспоминает: «Баллада «Капитан Бухайдзе» быстро распространилась на фронте. Она стала клятвой, боевым призывом, великой силой, вдохновляющей и сплывающей в бой в борьбе за свободу и независимость Родины... Бойцы очень скоро выучили стихотворение наизусть. В ротах, батальонах и полках на его слова была создана боевая походная музыка, и стихотворение стало любимой песней бойцов».

В мае 1944 года стихотворение было опубликовано в «Правде» в переводе Веры Звягинцевой. Так же легко и свободно, как и в оригинале, лились слова, с которыми обращался к своим соратникам мужественный грузин, погибший у ворот Кавказа:

Я — грузин Бухайдзе. Повержен
Вражьей пулей в Кавказских горах.
Если б мог я воскреснуть из мертвых,
Если б ожил внезапно мой прах,
Я бы отдал опять свое сердце
Милой родине в грозном бою,
Вновь бы умер за землю родную,
Ту, что грудь покрывает мою...

Но подвиг сохранил жизнь героя в памяти поколений. Эту мысль автор подчеркивает словами воина:

Я не умер. Бессменно на страже
Я — Отчизны своей часовой...

Идея о неистребимости и необычайной протяженности единичной человеческой жизни, взятой в совокупности с народом и национальной историей, звучит во многих произведениях, посвященных павшим воинам. Индивидуальная судьба, оборванная войной и исчезнувшая навечно, в жизни народа является тем звеном, которое связывает годы лихолетья с будущим, во имя которого отдана жизнь. Эта мысль пронизывает, в частности, стихотворения Симона Чиковани, посвященные Владимиру Канкава и воину Лешкашели: «Над горным потоком» и «Смерть Лешкашели».

Политрук Владимир Канкава, посмертно представленный к званию Героя Советского Союза, бесстрашно вступил в поединок с вражескими танками. Группа истребителей танков, которую он возглавлял, остановила 17 машин противника, четыре из них он уничтожил сам из противотанкового ружья.

Лаконичны и скупы строки стихотворения, рассказывающего о подвиге политрука, но тем сильнее звучит в них повесть мужества и героизма:

Ни шагу назад. На железную прорву
Ты смотришь, не чувствуя робости.
И первый же танк полыхает, подорван,
Второй наклоняется к пропасти.

Ценою собственной жизни выполнил Канкава долг воина и патриота; вражеские танки на этом участке фронта не прошли:

Но меркнет твой разум, и взор твой орлиный
Уже помутнел и погас.
Ты пал на краю кабардинской долины
За Грузию и за Кавказ.



Стихотворение «Смерть Лешкашели» увековечило память еще одного героя, самоотверженно сражавшегося на берегу Баксана. Смертельно раненный при выполнении боевого задания, боец переплывает Баксан, чтобы добраться до своих. Лирический герой стихотворения, от лица которого ведется рассказ, — друг и товарищ Лешкашели по оружию:

Мы с ним из одного гнезда,
Нас буря с домом разлучила.

Мы на краю родной земли
В одном окопе с ним сидели
И выход к югу естерегли
По эту сторону ущелья.

Герой умирает, и многоцветие красок окружающей природы сплетает ему ореол бессмертия:

Был снег нагорный ярко бел,
И небо сине за горою,
И куст смородины горел
Свечою в головах героя.

(Перевод Б. Пастернака).

Природа Кавказа, как и в мирное время олицетворявшая для грузинских поэтов Родину, была в лирике военных лет активной участницей грозных событий. Так, в произведениях Ревва Маргиани, находившегося в годы войны в рядах действующей армии, мощь и бессмертие родной страны часто ассоциируется с бессмертием природы. В бой с врагом идут не только люди, на него обрушиваются и разгневанные Кавказские горы:

Светает! И слышатся звуки трубы:
Спасем тебя, Родина-мать!
В бой готовятся гор ледяные столпы,
С героями в бой выступать.
Уж светает! Привет вам, герои борьбы,
Привет, гранитная рать!

(Перевод Н. Тихонова).

Неразрывно связанная с судьбой и борьбой народа природа помогала ему неприступностью скал и ледников, крутизной перевалов, она кормила его дарами своих лесов, освежала прохладой ущелий, переживала вместе с теми, кто защищал Кавказ.

Природа органически входит в созданную С. Тавадзе галерею стихотворных портретов воинов, сражавшихся в горах

Кавказа. Цикл так и называется «Портреты фронтовиков». Под
циклом дата: «Ноябрь 1942 г. Баксанское ущелье».

Описанием природы, полной тревоги и ожидания, в
сердце матери, начинается стихотворение И. Конечникова
«Братья», посвященное братьям Леселидзе:

Лишь луне над мальвами не спится,
Тонкий луч скользит наискосок
Да мелькают у камина спицы,
Ловко вяжут шерстяной носок.

Словно чайки в поднебесье висли, —
Свод отполирован добела...
Покатилась звездочка и мысли
Матери с собою унесла.

Унесла туда, где выюга в ключья
Рвет заледеневшие кусты,
Где четыре брата днем и ночью
Бьются у подножья высоты.

Из газеты, принесенной отцом героев, мать узнала, что
ее сыновья живы, что там:

вдали, где выюга веселится,
Замстая мертвые кусты,
Славно бьются братья Леселидзе
У подножья снежной высоты.

Любовь к родной природе, олицетворявшей Родину, пронизывала все существо рядового Григория Сулухия, подвиг которого запечатлел писатель П. Павленко.

Русские писатели, вместе с воинами и писателями Закавказья и других республик, принимали самое активное участие в героической обороне Кавказа. Это участие было тем плацдармом, на котором крепло и закалялось интернациональное братство.

Писатель П. Павленко был в рядах воинов Закавказского фронта в качестве военного корреспондента «Правды» и «Красной звезды». Он хорошо знал Кавказ, законы и обычаи, характер горцев. В очерке «Газават», опубликованном в «Красной звезде», он рассказал о священной войне, которую объявили Гитлеру жители гор, об их клятве — не щадить жизни в боях с кровным врагом.

Рассказы и очерки П. Павленко, переданные по телеграфу непосредственно с театра военных действий, не только шли в номер, но нередко и издавались отдельными брошюрами.

В 1942 году в Тбилиси вышла книжка П. Павленко «Героический сын грузинского народа». В ней рассказывалось о Григории Сулухия — молодом красноармейце из грузинского городка Зугдиди, попавшем в плен к фашистам. В самые тяжелые часы жизни раскрылись его духовная красота, отвага, необычайное мужество.

Стремясь выведать у юноши военную тайну, враги стали его пытать, вырезали на спине пятиконечную звезду. И вот в:

эти минуты он, не обращая внимания на боль, думает лишь о том, что, прожив 26 лет, он должен так бесславно умереть, не совершив ничего героического, что стало бы известно в родном Зугдиди, где живет престарелая мать. Молодой воин не подозревает, что в его молчании, в презрении к врагам и смерти и состоит тот бессмертный подвиг, о котором Грузия будет слагать песни.

Мысль о высокой идейности советских воинов, о вере их в свою правоту красной нитью проходила через произведения многих писателей. С большой силой она прозвучала в книге Виталия Закруткина «Кавказские записки».

В. Закруткин, будучи корреспондентом газеты Закавказья «Боец РККА», вместе с защитниками Кавказа прошел через суровые испытания, побывал в самых сложных перипетиях, увидел и зарисовал множество фактов и эпизодов и, отобрав из них самое существенное, создал впечатляющее произведение о битве за Кавказ.

«Кавказские записки» отразили событийную сторону войны, показали не только человека на войне, но и воюющий народ, хотя там, где раскрывается подвиг конкретных героев, автор подробно останавливается на нравственной, духовной стороне солдатской жизни.

По словам П. Павленко, «Кавказские записки» — летопись, а не боевые зарисовки... Произведение живое, строгое, почти документальное и вместе с тем необычайно поэтическое и глубоко художественное».

Время суровой обороны Кавказа было серьезным испытанием не только для воинов. В поведении, поступках каждого раскрывался его облик — как человека и гражданина. Писатели стремились возможно глубже выявить и раскрыть нравственные ценности человека, его духовную красоту.

Жанр документально-художественной прозы, опиравшийся на подлинные события и биографии, все чаще стал уступать место произведениям, авторы которых стремились не только перепроверить себя, свои впечатления, но и полнее осмыслить материал, показать обобщенные типы героев.

Понски героя часто приводили к образу коммуниста.

Коммунисты, вожак и организаторы народа в дни суровых испытаний, представляли перед читателями какими они были в действительности — смелыми, беспощадными к врагу воинами, умелыми командирами, подготовленными политработниками. Таков, например, герой драмы Ило Мосашвили «Начальник станции».

..Немцы наступают. На Северном Кавказе они захватывают ряд населенных пунктов, в том числе железнодорожную станцию Орловку. Но советские патриоты ни на минуту не прекращают борьбу: взлетают в воздух железнодорожные мосты, немецкие эшелоны, выходит из строя электростанция. Руководит подпольной борьбой секретарь райкома партии Сергей Петрович.

На коммунистов равнялась молодежь. Яркий тип советского молодого человека — старшего полкового врача Нодара создал Ражден Гветадзе в «Правдивых новеллах». Мужественный и волевой Нодар умеет быстро и точно оценить обстановку, при-

нять решение; он смел, энергичен, умен. Эти черты определили своеобразие конфликта и тона всего повествования — бодрого, оптимистичного, проникнутого уверенностью в победе над врагом.

В центре романа Лео Киачели, посвященного обороне Кавказа, «Человек гор» — образ старого колхозника из Соу Бату Кардуа. Принцип, которым он руководствовался на протяжении всей своей жизни, это знаменитый афоризм Руставели: «Лучше смерть, но смерть со славой, чем бесславных дней позор». Бату Кардуа погибает смертью храбрых, но его родная деревня, имевшая важное стратегическое значение, освобождена от фашистских захватчиков.

Ярко обрисован в романе и образ основателя колхоза Соу старого партизана Кирилла Горакова. Идея дружбы между народами в годы испытаний — одна из центральных в романе, как и в литературе того периода вообще. В годы суровых испытаний закалялось и крепло интернациональное братство. На территории многонационального Кавказа это имело огромное значение: надежды врага посеять вражду между народами и тем самым облегчить себе путь к захвату Кавказа разбивались о непреклонное единство народов. Гимн дружбе народов слагали и многие поэты. Очень часто он звучал в теме солдатской дружбы, которая рождалась и крепла в сражениях, в лишениях войны.

Солдатской дружбе двух воинов — грузина и русского — закаленной в боях, проверенной огнем и смертью, была посвящена «Баллада высоты безымянной» Карло Каладзе.

По мере того, как становилось ясно, что сражение за Кавказ будет трудным и долгим, как и сама война, задачи лирики становились более сложными, углублялись, — начиналось более тонкое и глубокое проникновение во внутренний мир человека, философские и исторические начала выступали на передний план. Поэты все чаще обращались к балладе, помогавшей выразить героизм и драматизм происходящего через сюжет и лирическое восприятие автора.

«Баллада высоты безымянной» посвящена подвигу молодых советских патриотов Шаламберидзе и Мышакова, которым было поручено прикрывать на высоте отход наших частей. Взволнованный голос автора слышится уже в самой экспозиции:

Враг хотел все смести ураганом.
Высота, что вдали затерялась,
Неизвестной была, безымянной,
Но как славно она защищалась!

Когти воронов рвали ей тело,
Не молила она о пощаде,
Уберечь наше войско хотела.
Двое смелых вас было в засаде.

А танки шли один за другим. Храбро бились герои, думая лишь об одном — задержать, не пропустить врага:

Перед сталью немецкою — двое,
Только каждый за сотню сражался.
Вы врагу не давали покоя,
Вашей кровью песок пропитался.



Последний смертный бой еще больше сроднил воинов:

Побратала героев и слила
Дружба братская воедино —
С богатырскою русскою силой
Рядом гордая доблесть грузина.

Боевое братство помогло выполнить задание — враг был задержан, хотя оба воина героически погибли.

Наряду с балладой со временем намечается стремление к более крупной литературной форме — поэме. Поэма давала возможность отобразить не отдельный эпизод, отдельное событие, а историю подвига, многостороннюю связь человека со временем, раскрыть судьбу личности, а через нее и судьбу народа. Для многих поэм и, прежде всего, созданных грузинскими авторами, было характерно сопереживание истории и современности.

Правда, эту черту, характерную для грузинской поэзии вообще, можно было обнаружить и в ряде стихотворений, например, М. Геловани, И. Нонешвили, С. Тавадзе и многих других поэтов. В далеком историческом прошлом поэты черпали силы и волю к победе. Выразительно сказал об этом И. Нонешвили в стихотворении «Письмо с фронта»:

Но над землей в июньской рани
Сверкнул литой клинок войны, —
И стали силы Амирани,
Как хлеб насущный, мне нужны.

Но сам объем поэм позволял значительно глубже раскрывать исторические параллели и ассоциации, сопереживать отдаленные во времени явления с настоящим. В качестве примера можно сослаться на поэму Григола Абашидзе «Непобедимый Кавказ» — крупнейшее произведение грузинской поэзии о героической обороне Кавказа, переведенное на русский язык В. Державиным.

В поэме много прекрасных поэтических образов. В ней живут, дышат, думают прежде всего горы Кавкасиони. Когда враг нарушает их мирный покой —

...словно витязь предания горского,
Рубящий наотмашь главы драконьи,
Весь — возмущение, весь — непокорство,
В битву врывается Кавкасиони.

Точно так же встают на защиту грузинской столицы, когда над ней нависает опасность, царь Вахтаг Горгасал и доблестные герои Крцаниси — 300 арагвинцев:

Кличет Горгасал героев,
И вдали отозвались,
Встали триста над горою
Арагвийцев от Крцаниси.



Встали тени над простором,
Словно туча грозовая...

Символика переходит в реальность — тени воинов предомляются в колонны советских воинов, идущих «на север, к фронту, в горы»:

Чу, гиганты оживленно
Заметались, всколыхнулись.
За колонною колонна
Двигалась средь темных улиц.

Через древние ворота
Под туманом, по безлюдью,
Шли войска, за ротой рота,
Мчались с грохотом орудья.

Сам герой поэмы — Георгий, на долю которого выпало много суровых испытаний, — олицетворение силы, мужества и стойкости народа. Он так же бессмертен, как бессмертны герои Крцаниси, как бессмертен народ. Мысль эта звучит в концовке произведения:

Он стоял несокрушимый,
Словно дуб с широкой сенью,
Витязь Грузии любимой
И бессмертья воплощенье.

Оптимизм проходил проверку жизнью. Почти во всех произведениях этих лет присутствовала мысль о победе. В самые тяжелые моменты, когда враг занял ряд перевалов, подошел к Орджоникидзе, писатели вместе со всем народом верили в нее, прославляли ее, а главное — приближали всей силой художественного слова. Иосиф Гришашвили так и назвал свое стихотворение — «Родина и победа», ибо для истинного патриота понятия эти нераздельны:

Это давно уже сказано:
Крепко два слова те связаны,
Слово «победа» и «родина».
Путь охраняем мы пройденный.
Путь нам другой неведом, —
Родина и победа!

Всем своим сердцем им преданный,
Только за ними последую.

Воли своей не ослаблю.
В ножны не спрячу саблю.
Путь мне другой неведом, —
Родина и победа!

(Перевод Б. Серебрякова).

Вера в победу проявлялась часто в твердой уверенности в том, что враг будет разгромлен и жизнь, мирная и счастливая, станет еще краше. Г. Леонидзе заверял воинов от имени народа:

Из лоз ни одна не завянет,
Клянемся в том честью и жизнью.
Богаче, счастливее станет,
Что создано было отчизной!

Что вспахано — будет засеяно,
Что сжато — то собрано будет,
Смолочено будет и свеяно,
Так правда народная судит.

(«Бойцам-грузинам»,
перевод П. Антокольского).

Эти строки стихотворения с воодушевлением воспринимались воинами не только Закавказского фронта, но и теми, кто сражался под Сталинградом, Новороссийском и на других фронтах. Григол Абашидзе в стихотворении «Победитель» (1945) скажет устами воина Кантария, водрузившего вместе с Егоровым знамя Победы над рейхстагом:

И надежде этой неизменно верил я,
Возле гор Кавказа, у его преддверия,
По пятам преследовал злодея,
Разрушал в лесах его берлоги,
Под жестоким ливнем холодея, —
Не свернул с дороги...

(Перевод В. Звягинцевой)

После разгрома немецко-фашистских войск на подступах к Орджоникидзе последняя попытка гитлеровцев прорваться в Закавказье, к нефтяным районам Грозного и Баку провалилась. Войска Закавказского фронта перешли в наступление. Один за другим были освобождены Моздок, Нальчик, Пятигорск. В Пятигорске на месте дуэли Лермонтова собрались бойцы, командиры, политработники. Возник стихийный митинг, на котором была принята необычная присяга.

Писатель П. Павленко, прибывший в Пятигорск вместе с войсками 9-й армии, обратился к замершим в строю воинам и торжественно произнес:

— Клянемся великому русскому поэту поручику Тенгинского полка Лермонтову, что наши войска дойдут до Берлина!

— Клянемся! — грянули хором бойцы и командиры. И свою клятву они сдержали.

...Мелькают годы, десятилетия, все дальше в прошлое уходят грозные события Великой Отечественной войны. Но сколько бы ни минуло лет, героический подвиг армии, советского народа, его вдохновенных певцов—писателей будет жить вечно.

ДОРОГА ДОМОЙ

«Многие из героев фронта и тыла Великой Отечественной войны известны всему миру, других знают однополчане и земляки. А есть еще миллионы и миллионы людей — и тех, кто пал в бою, и тех, кто сейчас жив и трудится, чьи имена широко не известны. Эти простые и скромные люди проявили беспримерное мужество, презрение к смерти, отвагу, ум, находчивость, непреклонную волю к победе. Не знаю, сколько на свете возвышенных слов, которыми можно выразить замечательные качества настоящего человека. Но каждого из этих слов достоин советский человек — солдат, партизан, участник Великой Отечественной войны».

Л. И. Брежнев. «Малая земля».

...Уже неделю над городом шли проливные дожди, и в просторном бараке, наспех переделанном под столовую, весь день допоздна было много военных. Все военные летчики в черной форме, лично придуманной шефом авиации Герингом.

Они заходили группами и поодиночке и первым делом шли к буфетной стойке, за которой без усталости орудовала худенькая бледнолицая блондинка с грустными глазами.

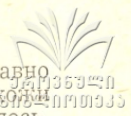
Неделю назад в столовой появилась новая группа военных. Они к буфетной стойке не подходили, а уstraивались обычно в дальнем углу вместе с офицером со свастикой на рукаве и молча ели. Потом так же молча вставали и все вместе выходили в грязь и слякоть.

Буфетчица сразу обратила на них внимание: что-то очень уж не похожи были они на тех, что обедали здесь постоянно. Однажды ей даже показалось, что они говорят по-русски, но потом она отогнала эту мысль: не может быть, чтобы среди фашистских летчиков были русские в фашистской форме.

— Кто эти, там в углу? — спросила она будто невзначай ефрейтора, служившего поваром на кухне.

— Эти?.. Их в лагерях набрали...

— Своих, что ли, не хватает?..



— Наверное, так, — глубоко вздохнул ефрейтор.

Моника — так здесь прозвали Таисию Кулагину — давно понимала и видела, что фашисты 1943 года совсем не похорошели на тех, что были два года назад. И спеси у них поубавилось, и тоскливые звуки губной гармошки звучат в столовой все чаще и чаще, и сами немцы, только когда напьются, пытаются храбриться. А на задания уходят печальные, с отрешенным выражением на лице. Многие все чаще и чаще не возвращаются. Сбивают их почем зря.

...На шестой день один из новеньких все же подошел к стойке и, прежде чем сказать слово, долго смотрел ей прямо в глаза. Потом пошарил в карманах и положил перед ней на прилавок несколько монет.

— Вам на все? — спросила она его по-русски, все еще сомневаясь, поймет ли он ее, ответит ли?

— Если можно, я сам возьму к столу, я не один, — ответил он по-русски с легким кавказским акцентом.

Она поставила перед ним две бутылки шнапса и, протирая их мокрой тряпкой, словно про себя проговорила: — Ну и попали вы в историю... Бедные вы, бедные ребята...

— А ты помоги, если есть у тебя душа, — вдруг неожиданно выпалил незнакомец и, забрав бутылки, не оглядываясь, пошел мимо притихших постоянных посетителей в свой угол.

Она видела, как зашептались знакомцы, ловко отвлекая внимание сидевшего с ними за столом офицера.

Прошло еще три дня.

Когда Владимир Москалец, словно невзначай расспрашивая военнопленных о месте расположения партизан, вдруг услышал от одного из них, что Моника уже не одного переправила в лес, он стал всеми силами добиваться ее расположения.

Осторожно прощупывая друг друга, ничего не называя своим именем, они удивительно быстро поняли друг друга и уже дальше действовали не страшась.

А еще через неделю из партизанского отряда, расположенного в 20 километрах от военного аэродрома, в Центр ушла шифровка: «На аэродроме появилась группа советских военнопленных в форме фашистских летчиков. По полученным данным, они ищут связи с партизанами. Трое из них — летчики Арам Карапетян, Владимир Москалец и Пантелеймон Чука-сели готовы к побегу на немецких самолетах».

Ответ пришел незамедлительно. «Осторожно продолжайте поддерживать связь с летчиками. Всесторонне изучайте. Ждите дальнейших указаний. Не исключайте провокации. Центр».

Потом были новые встречи с Володей Москальцом. И новые подтверждения того, что Моника не ошиблась. Вначале советских военнопленных летчиков к полетам не допускали. С утра до вечера они возились на ремонте сбитых или поврежденных машин. И странное дело: ремонт самолетов бесконечно затягивался, а тот единственный, что за 20 дней работы вышел на взлетную полосу, ушел в небо и больше не вернулся. Говорили потом, что его сбили... А может быть, и взорвался... Дру-

гих данных не было потому, что связь с самолетом прервалась на двадцать седьмой минуте...

Владимир познакомил Монику со своими друзьями Арамом Карапетяном и Пантелеймоном Чкуасели. Подозревая, что история с аварией самолета какую-либо связь с советскими летчиками или же исчезновение самолета — чистая случайность? Спросить у них тоже не удалось: через день ни одного советского летчика на аэродроме больше не было. Их всех куда-то в срочном порядке перебросили на транспортных самолетах. Но куда именно — не знал никто. Об этом она тоже сообщила в партизанский штаб, а те, в свою очередь, передали информацию в Центр.

...В концлагере Морцифельде, что был расположен между Истенбургом и Кенигсбергом, стояли большие бараки старой постройки. Сразу даже трудно было догадаться, для чего они предназначались раньше: для сушки и хранения зерна или содержания домашних животных. Но в тот день, когда поздним вечером в лагерь, опоясанный двумя рядами колючей проволоки, были доставлены раненые советские летчики, попавшие в плен, в этих бараках уже стояли наспех сколоченные голые трехъярусные нары.

Летчиков быстро разделили на три группы и затолкали в бараки.

Трагическая нелепость свела еще вчера воевавших людей в эти вагоны, и теперь они, еще не пришедшие в себя от ужаса своего положения, лишь тяжело вздыхали, переворачиваясь с боку на бок. С них на первых порах даже не сняли советской форменной одежды, а у многих поблескивали на груди советские ордена и медали. Отобрано у всех было только оружие.

— Странно, очень странно, — услышал Владимир Москалец голос своего соседа справа и тут же откликнулся.

— Ты не спишь, сосед?

— Какой уж тут сон!

— Давайте убежим, — присоединился к ним голос слева.

— Кто это такой смелый? — буркнул сосед Владимира справа. — Может, у тебя и самолет под нарами припрятан? — невесело хихикнул незнакомец.

— Но что-то ведь надо делать! Не сидеть же нам сложа руки. Мы ведь не в санатории...

Ответа не последовало. А на рассвете они уже знали друг друга по именам: Владимир Москалец, Пантелеймон Чкуасели, Арам Карапетян.

Общая беда сблизила их, и они решили держаться вместе, что бы ни случилось. Потом весь день рассказывали друг другу наудный о себе.

Один раз в день летчиков выводили из бараков, и теперь тройку, в которой Арам был самым младшим, видели только вместе. Владимир и Пантелеймон, как более опытные, взяли на себя обязанность присмотреться к остальным, чтобы разобраться, понять, кто есть кто.

И все же Арам первым приносил вести с фронта: он выискивал только что сбитых раненых летчиков и выспрашивал все подробности о фронтовых делах. Из этих сообщений тройка делала свои выводы: наступление наращивает темпы. Надо и самим принимать решение — все трое почти оправились от ран.

Об обычном побеге перестали думать сразу же, как только фашисты обнаружили в одном из трех барачков подкоп и расстреляли группу пытавшихся бежать.

— У меня на счету сто семь боевых вылетов, — сказал как-то однажды с тоской в голосе Пантелеймон Чукасели. — Давайте думать о сто восьмом.

И все стало ясно: нужно заполучить самолет. Но как? Как это осуществить?..

В концлагере самолетов не было. Но однажды все тот же Арам отозвал друзей в сторону и сообщил, что узнал удивительную новость: если это правда, то им дадут самолеты. Оказывается, он узнал из разговора офицера и фельдфебеля о том, что фашисты потеряли очень много летчиков и сейчас с транспортных самолетов пересаживают на боевые даже инвалидов. Вот на эти транспортные самолеты вроде бы и решили посадить советских летчиков-военнопленных, но подобрать, как сказал офицер, надо самых благонадежных, да и тем заправлять только по полбака.

...Видно, очень уж плохи были дела у фашистов, если с ними беседовал всего лишь бывший белогвардеец, алкоголик и неудачник Тарновский.

Доказывать свою «преданность» даже не пришлось. Тарновский был немногословен: пойдете в Восточную эскадрилью, получите шанс. Не пойдете — прямо в концлагерь, из которого на свободу только через трубу крематория...

...Аэродром был расположен на окраине города Лида. Две сотни военнопленных, окруженные вооруженной охраной с собаками, за десять дней и ночей оборудовали колхозное поле под аэродром.

Большие самолеты тут не приземлялись. Вся так называемая «восточная эскадрилья» состояла из итальянских самолетов типа «Арадо» и «Гота». Эти выдавшие виды самолеты, не раз прошитые пулями советских истребителей и наспех залатанные и заштопанные, имели довольно жалкий вид.

С первого же дня появления на этом аэродроме друзья по договоренности на людях встречались редко. Даже со своими молчаливыми коллегами, другими летчиками, старались разговаривать поменьше и только по делу.

Первые семь дней их непосредственный начальник Тарновский по приказу обер-лейтенанта Дусса объявил неделей освоения новой техники, однако ни разу ни к одной машине не подходил: у него в этот период наступила полная апатия и полоса беспробудного пьянства. Поняв это, летчики — то один, то другой — приносили ему выменянный у местных жителей бурачный самогон или, как его еще называли, — сивуху. Тарновский вяло благодарил и тут же при всех, откупорив бутылку, запрокидывал ее, жадно высасывая из нее мутную жидкость.

Самолеты были освоены быстро. Но это было полдела. Друзья разделили функции. Москалец стал чаще бывать у техников и механиков, прощупывать их настроения и однажды заявил, что все ребята надежные — не подведут. Он все время все отлаживал самолеты, помогая то одному, то другому побратиму.

А к тому времени Арам познакомился со своим земляком Николаем Тополяном. Слово за слово, они поняли друг друга, и Араму стало ясно, что Николай тоже стремится вырваться из вражеского логова. Друзья обсудили создавшееся положение и решили, что это хоть и рискованный, но самый надежный и быстрый способ — установить связь с партизанами. А риск? Что риск? Он стал привычным делом.

Расчет был прост до гениальности. Они показали Тополяну по карте дорогу к партизанам в Налибокскую пуцу, снабдили его компасом и картой, объяснили, что надо сказать командиру партизан, и главное, просили установить с ними связь в любой ближайший воскресный день.

— На явку пойду я, — безапелляционно заявил Арам. — Тот, кто придет, пусть ищет меня в районе стадиона. Ты подробно опиши ему меня.

...Дерзкий побег был совершен в открытую, днем. Двадцать техников и механиков сели в кузов грузовой машины, инсценируя поездку в баню, а Тополян, слегка выдавая волнение побелевшими скулами, уверенно сел за руль, вывез военнопленных с территории аэродрома, попетлял по улицам города и исчез.

«Восточная эскадрилья» была основательно обескровлена. Тарновский запил еще на неделю, а друзья все подносили и подносили ему сивуху. Только однажды, посмотрев на них несколько осмысленным взглядом, спросил:

— А вы чего не сбежали? Чего ждете, а?..

Не получив ответа, протянул дрожащую руку к стакану с мутной жидкостью и, выпив, полностью отключился.

* * *

Их было двадцать шесть. Все военнопленные. Все из города Лида. Все из батальона аэродромного обслуживания. Технический состав.

Одетые в выцветшую и потертую форму Советской Армии, они выстроились перед машиной и ждали, пока сопроводивший их партизан, еще при встрече отобравший у них одну винтовку и три пистолета, собрал все оружие в охапку и пошел к штабной землянке.

Потом вестовой вызвал старшего из новоприбывших. Водитель автомашины вышел из строя и четко, по-военному доложил: красноармеец Николай Тополян.

— Следуйте за мной, — пригласил его, испытующе глядя на всех новоприбывших, вестовой.

Прибывшие смотрели на партизан настороженно; во взглядах у них мелькала радость, смешанная с чувством стра-

ха. К этому партизаны привыкли: сами здесь возникали в разное время, разными путями, сами прошли через все это. Ведь бригада родилась на базе разрозненных групп военнослужащих, вырвавшихся из окружения и бежавших из фашистских концлагерей. Было в бригаде немало и местных жителей, но большинство — военнопленные.

По установленному в бригаде неписаному закону, к новоприбывшим никто сразу не подходил. Это привилегия командира. В таких случаях торопиться не следует. Бывало, и своих агентов гестапо засылало в отряд. Всякое бывало.

А пока теперь уже бывшие военнопленные осторожно осматривались: как-то их примут эти незнакомые бородачи?

В землянке командира было просторно и тепло. Сам командир был одет в форму полковника Советской Армии.

После беседы с Николаем Тополяном командир попросил начальника разведки заняться вновь прибывшими, а сам быстро набросал текст шифровки: «Центр. Сегодня в бригаду прибыло 26 человек из города Лида. Все военнопленные. Обслуживали аэродром в городе Лида. Сообщили, что три находящихся там советских летчика просят разрешения на перелет в расположение нашей партизанской бригады «Неуловимые». Фамилии летчиков: Владимир Москалец, Арам Карапетян, Пантелеймон Чукуасели. Жду ваших указаний. Командир «Неуловимых».

Не прошло и трех часов, как радистка приняла и расшифровала радиogramму из Центра.

«Вновь прибывших тщательно проверьте. Не исключена засылка агента. В отношении летчиков имена их известны. Они пытались и ранее установить связь с партизанами в районе Двинска. Необходимо установить с ними надежную связь через опытного разведчика. Предложите сообщать интересующие нас данные о передвижении войск в их зоне. Целесообразности в их перелете в настоящее время нет. При входе в контакт с ними необходима особая осторожность. Результаты первого контакта срочно сообщите. Центр».

Идя на связь, Шура Виноградова знала лишь о том, что она выполняет очень важное задание. Летчиков надо основательно прощупать и только потом, передав им «привет от Николая» по условному паролю, предложить сотрудничать.

К станции Юратишки Шура шла впервые, но с пути не сбилась ни разу. Три дня самым подробным образом ее инструктировали, описывали все приметы дороги с такими подробностями, что она могла пройти по ней и с закрытыми глазами. А в завершение перед самым уходом с партизанской базы она еще сдала экзамен начальнику разведотдела. Тот остался доволен.

...Близость железной дороги она почувствовала еще до того, как услышала далекий перестук колес на стыках и словно простуженный, сильный паровозный гудок.

Она поняла, что лес скоро кончится. «А там станция Юратишки», — отчетливо всплыло в сознании наставление начальника разведки. Однако по лесу идти пришлось еще довольно долго.

Самым тяжелым был последний допрос на партизанской заставе, о которой она ничего не знала. Ее, видимо, выставили тут недалеко от города совсем недавно.

Допрашивал ее офицер Советской Армии, одетый в новенькое. В этот день она впервые увидела погоны и потом, когда все благополучно окончилось, робко спросила: а погоны зачем?

— Это теперь новая форма советских военнослужащих.

Хотела она еще спросить — будут ли погоны и у солдат... Потом хотела узнать — как дела на фронтах: ведь ясно, что этот офицер появился тут недавно, наверное, сброшен на парашюте. Но не спросила. Сдержалась, чтобы не затягивать встречу. Надо было торопиться.

Потом она пошла прямо к станции, в открытую, не оглядываясь (если фашисты ее увидят в бинокли, пусть думают, что ей нечего скрываться. Идет себе девушка по своим делам на станцию, не кружным путем, а прямо — что с нее взять?)...

Слева, у самой кромки леса, возник большой дзот. Тот самый, который, как гигантский сторожевой пес, изрыгающий огонь и свинец, стоял на опушке между двумя зонами — оккупированной и партизанской и мешал, очень мешал партизанам. Так мешал, что горячие головы во всех отрядах не раз уже предлагали в темную ночь забросать его гранатами. Но это был безрассудный риск, и командир бригады, каждый раз соглашаясь с доводами, радуясь грозному огоньку в глазах партизан, отказывал.

Идя по «нейтральной полосе» между лесом и станцией, Шура опытным глазом заметила два эшелона. Один шел на восток, а второй, не останавливаясь на станции, проскочил на запад.

«Аусвайс» на станции проверял полицай. Новый, отметила она про себя, не из здешних, видимо. И на русского не похож вовсе. Все полицай, что служили тут раньше, уже давно с оружием в руках перешли к партизанам.

Полицай повертел «аусвайс» в руках, может быть, даже не понял немецкого шрифта и, вернув его, молча указал рукой — иди. Она пошла.

В ожидании поезда на Лиду она не теряла времени: определила число охраны станции — взвод, вооружение — автоматы, возраст солдат — старики-тотальники, видно, призванные недавно.

Шестьдесят километров пути до Лиды пролетели так быстро, что, когда поезд остановился, она чуть не оказалась последней, выходящей из вагона: поздно начала переобуваться — сапоги сменила на ботинки. Она быстро обошла женщину с детьми, старика-инвалида и вышла на перрон.

Город Шура знала плохо, но такие простые приметы, как «вокзал», «второй дом от станции», «первый этаж», «условный стук в дверь» и «пароль», — для нее были делом несложным. Главное, не привести за собой «хвоста». Она долго ходила по городу, зашла на рынок, где все что-то продавали, но никто ничего не покупал, и вышла к стадиону: вот тут завтра и встреча.

«А что если это провокация?» — подумала она, вспоминая, что и об этом предупредил ее командир бригады. «Что ж, — решила она, — все равно им от меня ничего не узнать. Буду играть дурочку и держаться до последнего».

На условный стук открыла русая, крепко сложенная, высокая девушка. После обмена паролями впустив Шуру в дом, она вышла за калитку и внимательно осмотрела улицу.

Хозяйку явочной квартиры Шура оценила сразу: деловита, немногословна, угадывает наперед все ее желания.

Через полчаса, перекусив с дороги, Шура уже крепко спала, укрывшись за год в первый раз теплым пуховым одеялом.

Проснувшись она, как и в отряде, ровно в шесть. Стрелки «Ходиков» вытянулись, точно разделив циферблат старинных часов на две равные половины.

Девушки позавтракали жареной на сале румяной картошкой и присели «на счастье».

Аннушка попросила точно показать ей маршрут, по которому пойдет Шура, «Так нужно», — добавила она. Шура прикинула свой вчерашний путь и сказала, что пойдет, наверное, мимо рынка, а может быть, и кружным путем. Нет уж, вмешалась хозяйка. Давай договоримся: маршрут соблюдать точно. Зачем? Пока не могу об этом сказать... Так надо для дела.

Минут через десять Шура, не оглядываясь, подошла к стадиону, пройдя в точности все обговоренные улицы. Время шло к двенадцати, точно к тому часу, когда была назначена встреча.

У стадиона Шура познакомилась с молодым солдатиком из новобранцев, поляком по национальности, как ей показалось. «Он отлично говорил по-польски, — вспоминала потом Шура. — Я была рада знакомству — не привлекала к себе внимания. Обыкновенная пара молодых людей, гуляющих в воскресенье на стадионе. Время шло. Я все искала хотя бы приблизительно похожего на описанного мне человека. Уже начала нервничать.

И вот около 4-х часов вечера мы подошли к выходу со стадиона, и вдруг из дома напротив выходят военные и первым — тот человек, который мне нужен. Он держал фуражку в руке, и я сразу узнала в нем человека, которого мне описали. Я попросила своего знакомого подойти и позвать летчика. Он согласился. Подошел, отдал честь и сказал, что я хочу его видеть».

...Когда к Араму подошел незнакомый паренек в польской конфедератке, он, как и тот молодой солдат-новобранец, даже представить себе не мог, что эта встреча может иметь какое-то отношение к партизанам.

Но солдат сказал: вас ждет девушка и показал на партизанскую связную. Всего мог ожидать Арам, но эта девушка никак не походила на связную: очень уж молода да еще с папироской в руке. Он почему-то придал горящей папироске особенно важное значение.

— Вам привет от Николая, — сказала она, неуклонно отводя его от стадиона и молодого солдата, который их познако-

мил. Арам молчал. Девушка повторила: — Вам привет от Николая.

— Какого Николая? — подозрительно спросил Арам, но никак не мог вспомнить такого имени. А что если Тополян попался, и эта девушка — подсадная утка, которая затащит его в гестаповскую ловушку?

Девушка все настойчивее тянула его к окраине города и снова повторила: «Вам привет от Николая», добавив — «от шофера».

Арам все понял, но молча испытующе смотрел в открытое лицо девушки, встретившись с прямым взглядом ее серых глаз, которые она не отводила. «Нет, она не может врать», — подумал Арам и решил про себя, что если и попадется, то друзей не выдаст ни под какими пытками. И он открылся.

Глаза обоих радостно засветились. Взявшись за руки, они, как молодые влюбленные, шагали по окраине, словно забыв обо всем на свете.

А говорили они о том, что сейчас было самым важным: в партизанской бригаде «Неуловимые» беглецов приняли и записали в отряд, шоферу Николаю Тополяну объявлена благодарность. Москва знает обо всем, — сообщала Шура новости одну за другой. Линия фронта приближается. По ночам слышен гул далекого боя.

— Готовьте посадочные площадки, обозначьте кострами, и мы прилетим хоть завтра.

— Нельзя...

— Как так?

— Центр пока не разрешает. Вылетать будете только по приказу Центра, а пока нам нужны разведанные.

— А приказ будет?

— Ну конечно, — заверила расстроенного Арама Шура.

Арам взял ее под руку и повел по городу, подробно рассказывая, где и в каком количестве сосредоточены войска, какая у них техника, какие намерения у гитлеровцев. Главное, — попросил он, — срочно меняйте базу. Нам стало известно, что скоро предполагается бомбежка вашей базы. Уходите немедленно.

Это сообщение очень взволновало Шуру. Договорившись о встрече в следующий воскресный день, Шура весь остаток дня и всю ночь добиралась до своих, а когда на рассвете, падая от усталости, подошла к землянке командира бригады, увидела, что здесь еще не спят. Ждут ее.

С трудом переводя дыхание, она сказала: надо срочно уходить, нас будут бомбить! Потом подробно рассказала об удачной встрече, установлении связи с Арамом и тех разведанных, которые успела получить. Подробный отчет об этой операции Шуры шифровкой ушел в Центр.

Через два часа поступил ответ:

«Срочно переходите на запасную базу. Старое место должно выглядеть как непокинутое. Поддерживайте костры до появления самолетов. Обеспечьте полную безопасность людей. Центр».

Лагерь был покинут за четыре часа. Жалко было расставаться с обжитыми землянками, но другого выхода не было. Эта поспешность оправдала себя. Еще через пару часов над территорией покинутого лагеря прямо над горящими кострами показались самолеты авиаразведки. Немецкие наблюдатели, которых приставили к нашим летчикам, засекли координаты базы по кострам и по возвращении перенесли их на боевые карты, установив точные цели для бомбежки.

Друзья ликовали: хоть одно полезное дело сделали — партизаны оповещены заранее.

Приказ о бомбежке партизанской базы обер-лейтенант Дусс изложил резко, сурово, вглядываясь в глаза летчиков, словно пытаясь проникнуть в их самые сокровенные мысли. Друзья выдержали эту психическую атаку. Только Чкуасели, хитро оглядевшись вокруг, спросил: а что, наблюдатели с нами на бомбежку не полетят?

— Никаких наблюдателей! — нарочито грубо крикнул Дусс. — Мы вам полностью доверяем. Достаточно ваших фотографий для доклада начальству.

...Погода была ясная, почти безоблачная. Взлетели один за другим, выстроились звеном. Вот промелькнул знакомый мост, рядом с которым они приметили зенитную батарею. Снова лес. Небольшие прогалины. Железная дорога. Дымящий паровоз во главе эшелона. Станция Юратишки, а чуть правее — немецкий дзот. Тот самый, о котором говорила Шура. Разворот в сторону леса, полет по прямой. А вот и партизанская база.

Летчики облетели ее со всех сторон. Видели и костры, и землянки, и людей, которые всматривались в небо, пытаясь, наверное, различить опознавательные знаки на крыльях, и тут же уходили в лес. Поляны пустели при приближении самолетов.

С какой бы радостью все три летчика сейчас совершили бы самую опасную, пусть даже с риском для жизни, аварийную посадку вот на этой небольшой лесной просеке, где можно сразу обломать и крылья, и шасси. С радостью!


Но делать этого нельзя. Надо ждать приказа Центра. Только так.

А через день они стояли у своих, как обычно, наполовину заправленных горячим самолетов, но уже с полным комплектом бомб и заряженными пулеметами.

— Мы ждем вас через 45 минут. Запаса горючего хватит на всю операцию, — сказал обер-лейтенант Дусс. — Операция будет удачной, — безапелляционно заключил он. — Летите!

Снова замелькали под крыльями еще позавчера замеченные ориентиры. Снова мост. Зенитки. Лес. Дзот. Железнодорожная станция Юратишки. И все время неотступно тревожные мысли: «Ушли — не ушли? Ушли — не ушли? Ушли — не ушли?..»

Наконец, первая знакомая поляна. Три белые рубашки на кустах: значит, ушли. Так было обговорено Шурой. И костры горят. Горят костры!

— Ушли! — кричит Арам, перекрывая шум  мотора, — Ушли! Молодцы! — И машет крыльями. Товарищи тоже машут в ответ.

Первым заходом бомбит Арам. Затем сбрасывают свой смертоносный груз Пантелеймон и Владимир. Взрывы фотографируются. Столбы огня и дыма на земле.

Но что это? Арам не идет на второй заход. Он машет крыльями: следуйте за мной.

Друзья идут снова вместе, но уже обратно... к станции. А вот и злополучный дзот.

Неожиданно Арам делает боевой разворот и сбрасывает четыре бомбы прямо на дзот. Летят камни, щебень, полыхает пламя.

Эх, была не была!.. И друзья почти автоматически повторяют действия друга. Бомбы летят на дзот. Лишь один солдат в панике убегает от него все дальше и дальше.

Друзья сближаются и сквозь стекло кабины видят поднятую руку Арама: цель накрыта!

А куда теперь?.. Бензин на исходе. К партизанам нельзя. Что же делать?.. Что делать?.. Арам летит по курсу: назад на аэродром, к немцам. Друзья последовали за ним — значит, он что-то придумал. А если и не придумал...

Друзья приземлились. Арам первым выхватил фотоаппарат и побежал к обер-лейтенанту Дуссу: «Вот проявляйте, смотрите, докладывайте, ваше задание выполнено, от партизанского лагеря остались рожки да ножки».

— Что это: рожки да ножки?

— Ничего не осталось! Ничего! Понимаете?

— Проверим, — сказал Дусс и скрылся в помещении.

Друзья долго не отходили от помещения, в котором скрылся обер-лейтенант. Молчали. Курили. Смотрели, как мимо них на бреющем полете с запада на восток летят фашистские самолеты.

Дусс выскочил словно ошпаренный.

— Что вы натворили?! Сейчас мне позвонили, что вы бомбили дзот?! Девять солдат погибло!!

— Это не мы, — спокойно глядя в глаза обер-лейтенанту, сказал Москалец.

— Мы выполняли только ваше задание, — доложил Карапетын.

Ефрейтор вызвал обер-лейтенанта к телефону. Звонил кто-то из большого начальства.

Друзья переглянулись и решительно вошли в комнату вслед за обер-лейтенантом, чтобы быть в курсе происходящего.

Дусс был так ошеломлен известием и так напуган звонком начальства, что даже со стороны было видно, как его трясет мелкая дрожь.

Он согнулся перед телефонным аппаратом в вопросительный знак и лишь подобострастно кивал: «Яволь, яволь, яволь», а потом вдруг, видимо собравшись с силами, сказал такое, что у друзей сразу отлегло от сердца. Он сам выручил их из надвигающейся беды.

— Нет, господин майор, — как мог твердо, но с дрожью в голосе сказал он. — Я только что проявил снимки. Мои летчики бомбили партизан. От их базы ничего не осталось, попадания в цель. Истрачен весь боекомплект... Это, наверное, другие, с соседних аэродромов, — добавил обер-лейтенант. Друзья осторожно переглянулись и вздохнули. Выход найден.

Дусс положил трубку и некоторое время, уставившись остекленелым взглядом на телефонный аппарат, молчал. Потом, словно очнувшись, обвел медленным взглядом помещение, еще раз заглянул каждому в глаза, подолгу всматриваясь в лица: не дрогнет ли хоть один мускул?

Шея у него побагровела, глаза налились кровью, и он смог лишь выкрикнуть: — Вооооо! Негодяи!..

Летчики исчезли.

Шура приходила в Лиду к летчикам неоднократно. По воскресеньям. И каждый раз уносила с собой самые свежие разведданные.

Наконец, еще одно воскресенье — последнее.

Шура принесла приказ Центра и командира бригады: третьего июля вылетайте. Площадку подготовили в районе села Белый берег. Садиться на проселочную дорогу у трех коствов.

Когда Арам, разгоряченный, как на крыльях, примчался в расположение аэродрома и рассказал друзьям, что вылет послезавтра, они обнялись и шепотом, самым тихим шепотом, шевеля лишь губами, прокричали «Ура!».

Но друзьям надо было решить еще массу неотложных дел. Не лететь же к партизанам, если, конечно, все обойдется благополучно, с пустыми руками. Вполне понятно, что в бригаде «Неуловимых» довольно туго с медикаментами. Их решили забрать из всех аптек в ночь накануне. Чкуасели сказал, что попробует вместе с Москальцом подчистить каптерку, где у Тарновского небольшой склад медикаментов. Там же Арам как-то приметил комплекты обмундирования и много сапог. Берем, решили они.

— А можно я возьму Симу? — просяще посмотрел на друзей Чкуасели.

И Арам, и Владимир знали, что у Пантелеймона тут невеста из соседнего села, да еще ждет от него ребенка.

— Пусть приходит прямо к аэродрому, — сказал за себя и за Владимира Арам. — Возьмем ее. Не оставлять же в таком положении.

Владимир предложил взять еще одного хорошего парня — штурмана, которому можно довериться. Однако решили сказать ему об этом перед самым вылетом, на всякий случай застраховавшись от неожиданностей.

У Арама тоже был свой предполагаемый пассажир — четырнадцатилетний мальчик-сирота Толя. Они с ним подружились месяц назад, когда увидели его в городе, худого и обтрепанного, выпрашивавшего у прохожих корку хлеба. С тех пор они взяли над ним шефство и выходили паренька. Он к ним привязался всей душой. Решили взять и его.

К рассвету 3 июля 1944 года все готово было для побега. Всю ночь осторожно, отвлекая по очереди охрану, друзья загрузили свои машины медикаментами и обмундированием. Пассажиров посадили еще затемно. Залили в баки горючее из заранее припасенных канистр: сливали в них каждый раз после полета остатки бензина и прятали в кустах у речушки.

Ровно в двенадцать часов, когда вся аэродромная прислуга отправилась обедать, друзья нарочито вялой походкой, не торопясь подошли к самолетам и устроились в кабинах.

Арам первым завел двигатель. За ним Владимир. Но пропеллер самолета Чкуасели торчал вертикально, как палка, воткнутая в землю. Терялись драгоценные минуты, а двигатель молчал. Казалось, предусмотрели все, продумали все до мелочей, и вдруг — осечка. Хотя Арам предупреждал: если у кого-нибудь неполадки, бросай самолет и бегом к ближней машине.

Арам и Владимир беспокойно выглянули из своих кабин, стали подавать тревожные знаки Пантелеймону, и вдруг вздрогнул и завертелся винт его самолета, набирая обороты.

Не теряя уже ни секунды, все три машины рванули поперек рулевоочной полосы, через непаханное поле к старту и одна за другой, как и было решено, взяли курс на запад, чтобы не вызвать подозрений у охраны, однако через несколько минут, набрав высоту, развернулись на восток.

Они видели, как смотрел им вслед часовой, как, увидев изменение курса, дал в воздух неслышную им автоматную очередь. Но было уже поздно: самолеты шли по намеченному курсу.

Волнение не покидало друзей, нервы были напряжены до предела. Впереди знакомый мост. Там рядом — зенитки. И хотя они набрали высоту, зенитки встретили их сильным огнем. Понятно: значит, с аэродрома уже сообщили о побеге.

Два самолета прошли опасную зону благополучно. Но машину Пантелеймона задела. Сволочи! Хоть бы дотянуть до своих! У Чкуасели прямое попадание в крыло, разбит маслопровод. Уже внизу партизанская зона. Уже Налибокская пуща, а машина все больше тянется к земле: двигатель теряет мощность каждую минуту. А тут еще беда: не предупрежденные из-за конспирации партизанские отряды открыли по самолетам со свастикой на крыльях огонь из всех видов оружия. Москалец и Карапетян проскочили благополучно, а в Чкуасели опять попали. Угодили в бензобак.

Арам, а вслед за ним и Владимир с большим трудом посадили свои машины на побитую, в больших ухабах проселочную дорогу, получив небольшие ранения при посадке. А Чкуасели так и не долетел до горящих сигнальных костров, сел в пшеничном поле.

Шура Виноградова вспоминает: 3 июля часов в 11 утра над Бакштами появились три немецких самолета. Жители забеспокоились. Начали прятаться. Мы, выбежав из дома, поняли, что это Арам со своей группой. Люди успокоились, бомбежки не было. Самолеты направились в сторону Минска. На посадочную площадку. Вдруг один самолет пошел низко над

1935920
0010333

землей. По нему открыли стрельбу из всех орудий. Машина сделала вынужденную посадку в поле за деревней Забережье в стороне. Я и майор Морозов на лошадях поскакали к месту посадки самолета. Мы поняли, что он поврежден. Подъехав, мы увидели, что летчик Чкуасели и его пассажиры были уже в стороне от самолета, под охраной.

Чкуасели, увидев меня, обрадовался. Здороваясь с Морозовым, он сказал: «Ну вот я и дома». Мы забрали их в штаб бригады.

Арам с Владимиром приземлились на аэродроме в лесу, и их встретили начальник разведки и секретарь комсомольской организации.

Когда все собрались в штабе, Морозов от лица бригады поблагодарил меня и пригласил к столу всех, кто был при штабе. В этот день мы узнали, что наши войска освободили Минск. А пока мы вели борьбу, не жалея своих жизней. Теперь в эту борьбу включились и летчики. Они также приняли участие в освобождении Белоруссии.

Когда фронт отодвинулся, мы приняли участие в минском параде партизан и после переформирования влились в действующую армию.

* * *

...Трудной военной дорогой шагали советские летчики — Арам Карапетян из Тбилиси, Владимир Москалец из города Славянска, Пантелеймон Чкуасели из Кутаиси, а с ними Шура Виноградова из украинского города Фастова. На их долю выпали и открытое сражение с врагом, и самые сложные жизненные обстоятельства, когда человек остается наедине со своей совестью и принимает то единственно правильное решение патриота Родины, которое помогает ему жить и бороться. И в конечном счете выводит на заветную дорогу — дорогу домой. Все трое друзей — скромные люди, в настоящее время пенсионеры, но продолжают работать. О своем подвиге они говорят коротко: это сделал бы каждый советский человек.

...Раз в году, 3 июля, на земле Белоруссии горят партизанские костры, со всех концов страны сюда собираются партизаны. И всюду, по всей земле Советской, словно от прикосновения факела, вспыхивают такие же партизанские костры. Их зажигают те, кто, выстрадав и выжив, пришел к Победе над ненавистным врагом, а рядом с живыми у костров — их не пришедшие с войны друзья, побратимы — сыны и дочери всех народов Страны Советской.

ОДНОПОЛЧАНИН

(ЗАМЕТКИ О МОЕМ ФРОНТОВОМ ДРУГЕ)

Живет мой фронтовой друг Эммануил Фейгин в Тбилиси, и все же видимся мы довольно часто. Вот и недавно встретились в Москве. И по какому-то поводу зашла речь о далеких днях войны.

— А помнишь нашу поездку под Новороссийск? — спросил я.

— Постой, когда это было?

— В феврале сорок первого.

— Ну да, в феврале. Конечно, помню. Тогда у тебя родилась дочь, и ты пробрался в роддом, чтобы повидать ее. Поезд отошел, но тебя все не было. И я тревожился, что попадешь под трибунал, а ты нагнал поезд, кажется, на дрезине.

— У дочери уже своя дочь. И сын.

— А помнишь?..

И вдруг осечка.

— Не помню, никак не могу вспомнить.

— Послушай, а у тебя сохранился тот февральский блокнот?..

Я снова просматриваю короткие, иногда в одно слово, порядком поплекавшие записи...

Утром первого февраля 1943 года редактор фронтовой газеты «Боец РККА» сказал нам своим мягким украинским говорком:

— Вот что, хлопцы, — отправляйтесь-ка сегодня в Черноморскую группу войск. В штаб можете не заезжать. Прямо под Новороссийск. Ясно?

Поездом из Тбилиси мы доехали до Сухуми, а оттуда на полуторке мимо некогда веселых приморских курортов, теперь малолюдных, притихших, по ночам затемненных. Из Сочи вышли на рейдовом катере. Недалеко от Туапсе из облака вынырнул вражеский самолет-торпедоносец и сбросил торпеду. Катер сманеврировал, и торпеда прошла мимо. Для команды это было обыденным, для нас довольно невеселым испытанием.

Зашли в Туапсе и после короткой стоянки поторопились к Геленджик, где уже не раз приходилось бывать. Отсюда

завтра, в ночь с 3 на 4 февраля, высадится морской десант и начнется героическая эпопея Малой земли, о чем мы с Фейгиным тогда еще не знали.

Не знали, но такова уж привычка военных газетчиков — есть возможность — поговори с бойцами, узнай, кто они, откуда родом, где сейчас их близкие? Как воевали вчера, сегодня?.. Вот мы и заполняли — тут же на пристани, примостившись то у ящиков с боеприпасами, то присев у портовой стенки, — свои блокноты. Благо, было с кем поговорить: и морских пехотинцев, и сухопутных бойцов оказалось в тот день в Геленджике непривычно много. Фейгин даже встретил одного знакомого — и долго с ним беседовал...

Позже, когда мы добрались до Кабардинки, Эммануил прочитал мне запись своего разговора с командиром взвода старшим сержантом Чебанюком. Рассказ война мне показался страшно интересным и я сказал:

— А что, если подправить, переписать и сегодня же отослать в редакцию?

— Рано, — возразил Фейгин, — назревают важные события и Чебанюк наверняка будет в них участвовать. И, значит, рассказ его станет еще более нужным. — И задумавшись, как бы про себя, добавил: — И характер у него огневой, и судьба огневая. Он всегда в самом пекле. Будь моя воля, я бы его фамилию так писал: Чебанюк-неопалимый.

Сказать по правде, мне не терпелось как можно скорее снабдить редакцию «гвоздевым» материалом, но Фейгин устоял против такого журналистского соблазна.

— Рано, — повторил он. — Подождем.

И вот снова, как четыре месяца назад, — девятый километр от Новороссийска. Сюда нас и посылал редактор.

Среди развалин старого здания расположилась артбатарея. Встретили мы здесь военного корреспондента «Известий» Алексея Степанова.

— Что, уже и на фронте не разминуться корреспондентам? — сказал он с улыбкой. — Но договоримся, братцы: здесь моя епархия и дайте сначала мне поговорить с народом.

— А мы уже поговорили, — ответил Фейгин. — Во сколько записали, — и вытащил из кармана пухлый блокнот.

Только мы покинули разбитое здание, как началась бомбежка и артобстрел. Залегли. Низко пролетел немецкий самолет и обстрелял из пулемета. Пули попали в лежащую рядом лошадь. Но она уже до этого была убита. Снова, еще ниже, пролетел самолет. У Фейгина был автомат и он дал очередь по нему. Стрелял, как он потом сказал, «для самоуспокоения», — просто так, без дела лежать невозможно. И очень сожалел, что нет при нем карабина — вместе с наганом он сдал его в госпитале, откуда только недавно выписался.

— Из карабина можно попасть, — сказал он. Сказал так, что я понял: очень ему нужно попасть. Душа горит.

Мы придвинулись поближе к лошади. Мертвым своим телом она прикрыла нас, живых.

Когда утих артобстрел и угомнилась авиация, мы выбрались из своего «укрытия». Фейгин признательно и прощально притронулся рукой к голове павшего коня.

Надвинулись сумерки, все гуще и гуще обволакивая землю. С моря дул колючий ветер, подсекая тонкие струйки моросящего дождя. Быстро стемнело. Мы шли в черноте сырого холодного вечера по расковыренному снарядами шоссе, еще не зная, где проведем ночь.

— А я, — заговорил Эммануил, — все о Чебанюке думаю. Романтик он все-таки. «Вы, говорит, литераторы, должны писать для нас возвышенно». То есть как возвышенно? — спрашиваю. «Да очень просто, — отвечает, — так, чтобы бойцы полюбили свой военный труд. Полюбили побеждать».

Я заметил, что романтика, наверное, помогает переносить суровую суть войны.

— Все, что делаешь, надо любить. А иначе не пойдет дело, — сказал Эммануил.

Ночью раздался мощный орудийный грохот. Мрачное февральское небо под Цемесской бухтой заалело сполохами, его прочертили огненные стрелы «катюш». Наша артиллерия с земли и с моря ожесточенно била по западному берегу бухты...

Утром мы узнали, что на окраине Новороссийска, у рабочего поселка Станичка высадился десант.

— А где-то там наш Чебанюк? — сказал Фейгин...

23 февраля — в день именин Красной Армии — во фронтовой газете «Боец РККА» вместе с нашими корреспонденциями (очерк Фейгина назывался «Звезды Черноморья») был опубликован рассказ уроженца Новороссийска командира взвода старшего сержанта Чебанюка под заголовком «Мы научились бить немцев». Это был суровый рассказ о трудных дорогах войны, о том, как шаг за шагом шел советский солдат к воинской зрелости, как он мужал, как крепла его воля: «Мы научились любить победу, и не только ту окончательную победу, которая будет через месяцы, а ту, которая будет через час, через минуту, когда ты врываешься во вражеский дзот или дом, занятый фашистами, и колешь их штыком, бьешь прикладом, душишь руками. Да, мы научились любить победу, почувствовали ее вкус и, что самое главное, мы научились добывать победу». В конце было сказано, что глубокой ночью взвод Чебанюка высадился с катера на берег, занятый немцами. Старший сержант и его товарищи пробились в пригород Новороссийска...

Не раз еще мы с Фейгиным оказывались вместе на фронте, и всегда я чувствовал заботливую руку друга, его ненавязчивое, корректное покровительство. И хотя разница в возрасте у нас небольшая, я относился к нему как к старшему, более искушенному в жизни. Тем более в литературе. Войну он начал уже писателем. За плечами были четыре изданных книги... Позади — Перекоп, Севастополь, Керчь, Кубань... «Бывалый парень», — сказали мне друзья, знакомя с Эммануилом Фейгиным ранней осенью 1942 года, когда он служил еще в газете Черноморской группы войск «Вперед, к победе!» Никогда не забуду, как участлив он был, узнав, что меня ранило, как

снаряжал, когда я уезжал в тыл залечить раны. Уже в пути я обнаружил, что в сухом пайке, который он вручил мне, когда я взобрался в кузов машины, — и печенье, и табак, и даже копченая рыбешка. Где он раздобыл эти «деликатесы» одному богу известно.

В конце сорок третьего нас разлучили кадровики. Меня перевели в другую газету, а он остался в «Бойце». Встретились мы лишь после войны — в Иране, куда меня снова забросила тогда судьба газетчика.

Было это в Казвине — плоскокрышем, знойном городке, в ста сорока километрах от Тегерана. Приехал он неожиданно и удивительно вовремя, потому что в этот день я собрался в далекую поездку. Когда улеглись наши обоюдovосторженные восклицания, он вынул из полевой сумки и подарил мне свою новую военную повесть «Девушка из легенды».

— Когда ты успел написать? — спросил я.

— Хотелось, не мог не написать.

Мы собрались идти обедать. Эммануил спросил, не найдется ли у меня чего-нибудь поесть. Заметив мое недоумение, добавил:

— Сейчас узнаешь.

У лестницы его поджидал пес. Рыжий, лохматый, хилый, он, высунув язык, прерывисто дышал.

— Жарко бедняге, — сказал Эммануил и дал ему ломоть хлеба.

— Где ты эту дворнягу нашел? — спросил я.

— С утра ходит за мной. Бездомная. Тут много бездомных собак.

Позже я узнал, что все три недели пребывания Фейгина в Казвине собака неотступно следовала за ним. Он ее кормил и даже купал в арыке. А когда выехал в Тавриз и через три дня вернулся, пес поджидал его у дома.

Вечером я отправился в восточную иранскую провинцию Хорасан.

Война не дошла до Ирана, хотя немцы изо всех сил пытались сокрушить Кавказ, затем устремиться в Иран, в Индию... Кавказ выстоял и победил. Иран продолжал мирную жизнь — по его территории пролегалась лишь трасса военных перевозок. Ну, а здесь, в Хорасане, вдали от тех дорог, по которым с юга на север шли грузы, даже в войну не ощущалась война. Теперь и подавно. А в тихом, несуетливом городке Нишапуре, что по дороге из Тегерана в столицу Хорасана, — многолюдный бойкий Мешхед, средоточие паломников, — казалось, застыло, остановилось время.

Это чувство особенно сильно овладело мною, когда я пришел к холмику, благоухающему розами. Такой была тогда могила Омара Хайяма. Теперь в Нишапуре возвели великолепный мемориал (я прочитал об этом у Георгия Гулиа) и прах поэта покоится под камнем. Но холмик, покрытый розами, казался мне самым подходящим, самым естественным надгробием тому, кто лежал под ним. «Меня, когда умру, вы соком роз омойте...» Самым подходящим, самым естественным. Простым и великим.

Когда утих артобстрел и угомонилась авиация, мы выбрались из своего «укрытия». Фейгин признательно и прощально притронулся рукой к голове павшего коня.

Надвинулись сумерки, все гуще и гуще обволакивало лю. С моря дул колючий ветер, подсекая тонкие струйки морского дождя. Быстро стемнело. Мы шли в черноте сырого холодного вечера по расковыренному снарядами шоссе, еще не зная, где проведем ночь.

— А я, — заговорил Эммануил, — все о Чебанюке думаю. Романтик он все-таки. «Вы, говорит, литераторы, должны писать для нас возвышенно». То есть как возвышенно? — спрашиваю. «Да очень просто, — отвечает, — так, чтобы бойцы полюбили свой военный труд. Полюбили побеждать».

Я заметил, что романтика, наверное, помогает переносить суровую суть войны.

— Все, что делаешь, надо любить. А иначе не пойдет дело, — сказал Эммануил.

Ночью раздался мощный орудийный грохот. Мрачное февральское небо под Цемесской бухтой заалело сполохами, его прочертили огненные стрелы «катюш». Наша артиллерия с земли и с моря ожесточенно била по западному берегу бухты...

Утром мы узнали, что на окраине Новороссийска, у рабочего поселка Станичка высадился десант.

— А где-то там наш Чебанюк? — сказал Фейгин...

23 февраля — в день именин Красной Армии — во фронтовой газете «Боец РККА» вместе с нашими корреспонденциями (очерк Фейгина назывался «Звезды Черноморья») был опубликован рассказ уроженца Новороссийска командира взвода старшего сержанта Чебанюка под заголовком «Мы научились бить немцев». Это был суровый рассказ о трудных дорогах войны, о том, как шаг за шагом шел советский солдат к воинской зрелости, как он мужал, как крепла его воля: «Мы научились любить победу, и не только ту окончательную победу, которая будет через месяцы, а ту, которая будет через час, через минуту, когда ты врываешься во вражеский дзот или дом, занятый фашистами, и колешь их штыком, бьешь прикладом, душишь руками. Да, мы научились любить победу, почувствовали ее вкус и, что самое главное, мы научились добывать победу». В конце было сказано, что глубокой ночью взвод Чебанюка высадился с катера на берег, занятый немцами. Старший сержант и его товарищи пробились в пригород Новороссийска...

Не раз еще мы с Фейгиным оказывались вместе на фронте, и всегда я чувствовал заботливую руку друга, его ненавязчивое, корректное покровительство. И хотя разница в возрасте у нас небольшая, я относился к нему как к старшему, более искушенному в жизни. Тем более в литературе. Войну он начал уже писателем. За плечами были четыре изданных книги... Позади — Перекоп, Севастополь, Керчь, Кубань... «Бывалый парень», — сказали мне друзья, знакомя с Эммануилом Фейгиным ранней осенью 1942 года, когда он служил еще в газете Черноморской группы войск «Вперед, к победе!» Никогда не забуду, как участлив он был, узнав, что меня ранило, как

снаряжал, когда я уезжал в тыл залечить раны. Уже в пути я обнаружил, что в сухом пайке, который он вручил мне, когда я взобрался в кузов машины, — и печенье, и табак, и даже копченая рыбка. Где он раздобыл эти «деликатесы» одному богу известно.

В конце сорок третьего нас разлучили кадровики. Меня перевели в другую газету, а он остался в «Бойце». Встретились мы лишь после войны — в Иране, куда меня снова забросила тогда судьба газетчика.

Было это в Казвине — плоскокрышем, знойном городке, в ста сорока километрах от Тегерана. Приехал он неожиданно и удивительно вовремя, потому что в этот день я собрался в далекую поездку. Когда улеглись наши обоюдосторонние восклицания, он вынул из полевой сумки и подарил мне свою новую военную повесть «Девушка из легенды».

— Когда ты успел написать? — спросил я.

— Хотелось, не мог не написать.

Мы собрались идти обедать. Эммануил спросил, не найдется ли у меня чего-нибудь поесть. Заметив мое недоумение, добавил:

— Сейчас узнаешь.

У лестницы его поджидал пес. Рыжий, лохматый, хилый, он, высунув язык, прерывисто дышал.

— Жарко бедняге, — сказал Эммануил и дал ему лопотку хлеба.

— Где ты эту дворнягу нашел? — спросил я.

— С утра ходит за мной. Бездомная. Тут много бездомных собак.

Позже я узнал, что все три недели пребывания Фейгина в Казвине собака неотступно следовала за ним. Он ее кормил и даже купал в арыке. А когда выехал в Тавриз и через три дня вернулся, пес поджидал его у дома.

Вечером я отправился в восточную иранскую провинцию Хорасан.

Война не дошла до Ирана, хотя немцы изо всех сил пытались сокрушить Кавказ, затем устремиться в Иран, в Индию... Кавказ выстоял и победил. Иран продолжал мирную жизнь — по его территории пролегал лишь трасса военных перевозок. Ну, а здесь, в Хорасане, вдали от тех дорог, по которым с юга на север шли грузы, даже в войну не ощущалась война. Теперь и подавно. А в тихом, несуетливом городке Нишапуре, что по дороге из Тегерана в столицу Хорасана, — многолюдный бойкий Мешхед, средоточие паломников, — казалось, застыло, остановилось время.

Это чувство особенно сильно овладело мною, когда я пришел к холмику, благоухающему розами. Такой была тогда могила Омара Хайяма. Теперь в Нишапуре возвели великолепный мемориал (я прочитал об этом у Георгия Гулиа) и прах поэта покоится под камнем. Но холмик, покрытый розами, казался мне самым подходящим, самым естественным надгробием тому, кто лежал под ним. «Меня, когда умру, вы соком роз омойте...» Самым подходящим, самым естественным. Простым и великим.

Кругом стояла непроницаемая тишина, с неба, отполированного до синевы, нещадно палило солнце. А розы сияли свежестью, бессмертием красоты, как рубаи Хайяма о единственности и страсти, любви и грехах, о тайнах мироздания и свободе разума.

Стихи шли из глубины времени, не увядая и не теряя силы, напротив, — обретая ее, потому что простые и мудрые, они покорили разум и душу все новых и новых поколений, призывая их к справедливости, к добру.

Когда б я властен был над этим небом злым,
Я б сокрушил его и заменил другим,
Чтоб не было преград стремленьям благородным
И человек мог жить, тоскою не томим.

Может быть, никогда раньше так пронзительно не звучали во мне эти строки, как в этот жаркий день в Нишапуре у могилы их творца.

Нет, не застыло здесь время! Мне так показалось потому, что тишина, прочно властвовавшая вокруг, как бы поглощала время, словно наркоз, притупляла его ощущение. Это поэзия Хайяма вобрала, вместила в себя время: и те восемьдесят с лишним лет, которые он прожил на свете, и те восемь с лишним столетий, в которых живет его дух и дар. И будет жить всегда.

Потом мы отправились с водителем перекусить в придорожную чайхану с рекламным названием «Омар Хайям». С потолка гирляндами свисали едко-желтые бумажные ленточки, усеянные черными точками мух, с неровного глиняного пола пахло испаряющейся влагой. У входа висел потемневший от времени, но аккуратно обтянутый по краям синим бархатом картонный портрет мудрого и печального старца в чалме.

Посетителей было мало. Трое молодых мужчин сидели за столиком, еще трое пожилых, поджав под себя ноги, — прямо на ковре. Из маленьких стаканчиков они попивали чай вприкуску и вели тихую беседу. Один уселся в сторонке и, облокотившись на цветастую подушку, тянул кальян, наблюдая, как при очередной затяжке булькает в стеклянной трубке вода. Еще один посетитель находился в чайхане — худощавый, с землистым лицом и в рваной одежде. Возраст его определить было трудно. Он стоял у входа и неотрывно, завистливо глядел на человека, курившего кальян. Потом приблизился к хозяину, разливавшему чай, и не успел проговорить какие-то слова, как тот вышел из-за стойки, взял его за шею, подвел к портрету старца, ткнул в него пальцем и, что-то сказав человеку с землистым лицом, выдворил его за дверь.

Лишь позже я, кажется, догадался, что мог сказать хозяин этому человеку. Он мог повторить слова из рубаи Хайяма, придав им свой смысл: «Прошу сейчас, наличными... В кредит не верю!» А может быть, для подобных случаев и висел здесь портрет знаменитого поэта и ученого?

Когда мы вышли из чайханы, человек с землистым лицом, поджидавший нас у машины, умоляюще сказал водителю:



— Помою, арбаб*. У меня тут ведро. Я быстро.

Водитель дал ему несколько риалов**. Человек вознес руки к небу, прошептал слова благодарности, потом низко поклонился, разжал ладонь и подсчитал риалы. Мы поехали в Мешхед по пыльной, плохо утрямбованной дороге...

Возвратясь из Хорасана, я застал Эммануила играющим с собакой. Она заметно окрепла, была уже, как говорится, в теле. Приободрился, повеселел пес, видно, лучше ему стало жить на белом свете.

— Теперь он у меня Принц, — сказал Эммануил.

— А не рискованно ли это для здешней монархии? — спросил я.

— Во всяком случае, песик несколько не возражает и охотно откликается, когда его так величают, — ответил Эммануил и обратился к песику: — Ну, теперь забирай, дружок, свою игрушку и отправляйся на место.

Принц почему-то тявкнул, зажал в зубах какую-то деревяшку и, виляя хвостом, удалился.

Я поделился с Эммануилом горсточкой земли, взятой с могилы Омара Хайяма, и в подробностях рассказал о том, что повидал в Мешхеде, Нишапуре и в придорожной чайхане.

— Надо и мне побывать в тех местах, — сказал он. — А о курильщиках опиума, об этой трагедии людей я уже задумал рассказ. Напишу, очевидно.

Прошло несколько месяцев и, когда я приехал в Тбилиси, в газете «Ленинское знамя» (так стала называться с ноября 1945 года газета «Боец РККА») прочитал рассказ «Отравители». Позже Фейгин переработал, расширил рассказ, и он вошел в трехтомное собрание сочинений, изданное в 1974—1979 годах.

Недавно я перечитывал этот трехтомник, придерживаясь хронологии помещенных в нем произведений (хотя в книгах хронология не соблюдена), и от рассказа к рассказу, от повести к повести, к роману передо мною раскрывалась биография автора — не только творческая, но человеческая. Детство в степном городке Джанкое, учеба на слесаря, работа в МТС и семеноводческом совхозе в предвоенные годы. Война, по дорогам которой проходит он военным корреспондентом... А в послевоенные годы все виденное, пережитое, осмысленное ложится на страницы рассказов, повестей, романов. С каждой вещью зреет его писательское мастерство.

Когда читаешь Фейгина, обнаруживаешь удивительное сходство того, что написано им, с тем, как он ведет себя в жизни, как относится к людям — к тем, кого любит и кого не приемлет. Видишь его благородство и доброту. И непримиримость к злу, к пошлости. И все написанное согрето внутренним огнем — «Хотелось, не мог не написать», — вспомнилась его фраза. Пожалуй, можно, не колеблясь, сказать, что нет различия между Фейгиным-человеком и Фейгиным-писателем.

* Арбаб по-персидски — хозяин.

** Риал — мелкая монета.

Он и пишет, как разговаривает в жизни — без нравочений, но заинтересованно; без позы, но убедительно; просто, но не простецки. Без красивостей, но ярко он может дать картину, пейзаж. Прочтите одну из последних его повестей — «Тбилиси, предвечернее небо», и вы согласитесь со мной, потому что почувствуете тбилисский колорит, его краски, его запахи, его воздух. А когда прочитаете роман «Совершеннолетние» или повести «Обида Егора Грачева» и «Бульдоги Лапшина», увидите, как Фейгин, трогательно любящий «братьев наших меньших», переносит эту любовь на «персонажи» своих произведений — «пегого кареглазого жеребенка», пезабываемо мелькнувшего в самом конце романа; «обыкновенную рабочую лошадь» по прозвищу Чемберлен; на собачонку Принца «с веселыми озорными глазами»... Да, Принца, как он нарек бездомную дворнягу, встретившуюся ему в иранском городе Казвине, а потом дал эту же кличку щенку из повести о Егоре Грачеве.

Собачка и лошадь «помогают» Фейгину вылепить образ Егора Грачева и на своеобразном жизненном материале поставить в повести важные моральные проблемы — ответственности и долга. Вот об этом — об ответственности, о долге и совести написал Фейгин и свое лучшее, пока лучшее, произведение — роман «Синее на желтом». Один из наших литературных критиков заметил, что роман этот написан «сильным и честным пером». Я хочу добавить: и смелым. Более того: дерзким. Фейгин из тех писателей, которые ни в чем — ни в большом, ни в малом — не обманывают ни себя, ни читателей.

Хорошо, когда, читая, знаешь писателя лично. А еще лучше, когда замечаешь, что жизненные позиции этого писателя, его взгляды находятся в полном соответствии с созданными им образами, с тем, что он проповедует в своих книгах. Потому-то, наверное, от написанного Фейгиным веет искренностью — благородной и нужной людям. Потому-то со страниц его книг встает правда, а не правдоподобие. И хочется сказать, что непритязательный многолетний писательский труд Эммануила Фейгина еще не рассмотрен нашей критикой в достаточной мере.

Но я, кажется, по времени забежал слишком вперед.

В 1950 году случай свел нас уже в Ереване. На этот раз Эммануил подарил мне сборник своих рассказов. «Верность» — так хорошо и правильно назвал Фейгин эту свою первую военную книгу. Он все еще служил в «Ленинском знамени» и приехал сюда с заданием, как он сказал, «заполучить» статью Аветика Исаакяна для воинов Закавказского округа.

— Как ты думаешь, напишет? — спросил он меня.

— Попробуем, попросим.

Дверь нам открыла невестка поэта. За ней стоял Аветик Исаакян. В коричневом в полоску костюме, в каком ереванцы нередко встречали его на улицах.

— Пожалуйте, — сказал он, и его мудрое красивое лицо, освещенное улыбкой, его добрые глаза и то, что он сам вышел встретить нас, сразу же погасили заметное волнение Эммануи-

ла Фейгина, переступавшего порог дома великого поэта. Да и мне, признаться, как-то передалось волнение друга, хотя я был уже знаком с варпетом*.

Уселись за стол, и поэт спросил Фейгина, впервые ли он в Ереване, где воевал и не собирается ли сменить военную форму на гражданский костюм?

Фейгин ответил, и тут же изложил свою просьбу.

— А я уже демобилизовал себя и занялся мирными делами, — снова улыбувшись, ответил поэт.

— Вот мы и просим у вас статью о том, как беречь мир.

— Это я напишу. Война всегда страдание. Кто ее затевает — преступник. А то, что фашисты натворили в эту войну — вдвойне преступление. — Помолчал, медленно расправил скатерть, которую постелила невестка, и снова заговорил. — Если бы Адам дожил до наших дней, он, пожалуй, простил бы Канина, потому что преступление библейского злотворца показалось бы ему наименьшим по сравнению с тем, что совершили современные канны.

В устах поэта, который в трагические годы первой мировой войны вобрал в свое сердце «армянскую скорбь», а, по-видав мир, познал невзгоды человечества и в стихах своих поднял гневный голос против несправедливости и зла, — эти тихо сказанные афористичные слова прозвучали как страстное осуждение войны.

— Вы любите свою профессию? — спросил он Фейгина.

— Люблю. И живу военной темой.

— Понимаю, вы военный литератор и ваш долг писать о войне и военных. Это — тема вашей жизни. Творчество и будни должны дополнять друг друга. Во всем. И в нравственном смысле особенно. Придет время, и угроза войны исчезнет. Военных не станет. А писатели останутся — литература ведь дело вечное. И тогда гармония творчества и будней будет решаться легче...

Мы ушли от поэта еще засветло. Стояла поздняя осень и добрые в эту пору лучи ереванского солнца поблескивали сквозь редящую листву платанов, тепло ложились на розовые, оранжевые, сиреневые камни домов.

— «Творчество и будни должны дополнять друг друга», — повторил мой друг слова поэта. — Как здорово это сказано. Ведь тогда и человек и его книги станут лучше.

Москва.

* Варпет — мастер.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ


«Помнят белорусские партизаны отважного конструктора партизанского оружия Тенгиза Евгеньевича Шавгулидзе. Его автоматы, пулеметы, подрывные средства, знаменитые «клинки» (точнее сказать, «клинья»—А. К.), так нужные в «рельсовой войне», помогали народным мстителям успешно громить врага».

Эти строки взяты из статьи Г. Пайчадзе «На земле белорусской», которая была опубликована в седьмом номере «Литературной Грузии» за 1979 год.

Добавим: талантливого конструктора помнят не только партизаны. О его славных творческих делах повествует и история партизанского движения в Белоруссии; о них рассказывают музейные стенды. А в послевоенные годы Т. Е. Шавгулидзе проявил себя незаурядным изобретателем в мирной жизни — многие его творения нашли и находят применение в такой важнейшей отрасли народного хозяйства, как транспорт. С ними можно ознакомиться во Всесоюзной патентно-технической библиотеке.

И если вам, дорогой читатель, в дни пребывания в Москве доведется проезжать по Бережковской набережной, оторвите на мгновение взгляд от мерно несущей свои вечные воды красавицы Москвы-реки, от златоглавых куполов древних соборов Новодевичьего монастыря и перенесите его на противоположную сторону — туда, где выстроились дома современной архитектуры. Обратите внимание на пятиэтажное здание за порядковым номером. Это и есть упомянутая библиотека — учреждение в своем роде уникальное, представляющее собой одну из богатейших в мире кладовых мудрых технических решений, практическое воплощение коих и составляет основную движущую силу научно-технического прогресса. Найдется время — загляните в эту кладовую. В ней сосредоточены описания технических новинок, позволивших человечеству за последние полтора века совершить революционные преобразования в самых различных отраслях науки и техники и пройти путь от керосиновой лампы до приборов ночного видения, от воздушного шара до реактивных самолетов, от сохи до мощного трактора, от парусного судна до атомохода...

В ее анналах сконцентрирован поистине титанический творческий труд многотысячной армии советских изобретателей, вклад которых в развитие современной науки и техники невоз-



можно переоценить. В самом деле, уже в 1975 году количество зарегистрированных в СССР отечественных изобретений вышло полмиллиона, а за три года десятой пятилетки стало более 146 тысяч. Чтобы оценить значимость этих цифр, уместно привести такое сравнение. В царской России с 1814 по 1917 годы, т. е. за сто с лишним лет, было выдано немногим более 36 тысяч привилегий на изобретения, из коих свыше 80 процентов принадлежало иностранцам. Это сравнение позволяет наглядно представить себе, каких творческих высот достигли раскрепощенные массы талантов в среде рабочих и крестьян, которые, как отмечал В. И. Ленин, капитализм душил, подавлял, разбивал и которые гибли под гнетом нужды, надругательства над человеческой личностью.

Материалы Всесоюзной патентно-технической библиотеки повествуют о содеянных этой раскрепощенной массой талантов замечательных делах. В числе таких материалов есть алфавитный каталог авторов изобретений СССР, состоящий из бесчисленного количества размещенных в алфавитном порядке карточек. Среди них есть и такие, на которых на протяжении целых десятилетий из года в год фигурируют одни и те же фамилии. Нетрудно догадаться, что для этих людей изобретательство стало делом всей их жизни, несмотря на то, что ради него им нередко приходится жертвовать сном, отдыхом, покоем. К ним можно с полным основанием отнести и Т. Е. Шавгулидзе — изобретателя плодovitого, разностороннего, преобладающего в постоянном творческом поиске. В этом убеждают многие десятки каталожных карточек, отмеченных фамилией Шавгулидзе.

Впрочем, под фамилией Шавгулидзе на многих карточках стоят и другие инициалы — Е. А. Повторяющийся инициал Е. — не случайность. Евгений Ананьевич Шавгулидзе — отец Тенгиза Евгеньевича.

Старший Шавгулидзе был человеком незаурядных способностей и аналитического склада ума, фанатически увлеченный техникой. Его молодость пришлось на тяжелые годы. Однако, устроившись на работу учеником слесаря в железнодорожное депо города Самтредиа, а позднее, переехав в Кутаиси, он осуществил свою заветную мечту, овладел считавшейся в ту пору особенно почетной профессией машиниста локомотива, научился по трудным горным дорогам мастерски водить тяжеловесные железнодорожные составы.

Среди сослуживцев Евгений Ананьевич быстро завоевал авторитет, удивляя их своими выдумками, своей изобретательностью. Одно за другим в депо появлялись разработанные им удобные в работе и высокопроизводительные приборы и приспособления, а потом служебная почта стала доставлять в Москву существенные конструктивные усовершенствования локомотивных узлов и механизмов. Автором их был Е. А. Шавгулидзе.

Первая карточка с его фамилией появилась в упомянутом каталоге в 1930 году. Прибор для проверки золотников паровой машины — так именовалось это его изобретение.

Вскоре слава о талантливом изобретателе-самоучке дошла до Наркомата путей сообщения. Ему предложили работу в

Москве. Нелегко было ему и членам его семьи расставаться с родными местами, но Евгений Ананьевич охотно согласился с этим предложением. Уж очень хотелось целиком посвятить себя изобретательству. А задумок в голове роилось так много, что, казалось, и жизни не хватит, чтобы довести их до полного завершения.

На новом поприще работа шла успешно. Но изобретателю-самоучке очень хотелось иметь близкого и надежного помощника, который хорошо разбирался бы в теоретических вопросах, умел выполнять сложные расчеты. Таким помощником стал сын Тенгиз — выпускник Московского электромеханического института железнодорожного транспорта. На первых порах молодой инженер помог отцу завершить важный технический проект, а потом стал автором собственного изобретения. Однако реализации дальнейших творческих планов Тенгиза помешала война. В первые же ее дни в воинском звании старшего инженер-лейтенанта и в должности командира тягового взвода 13-й железнодорожной бригады он попал на фронт и оказался в самом пекле ожесточенных боев. Судьба уготовила ему тяжелейшие испытания: окружение, ранение, плен.

Доктор И. Л. Друян, оказавшийся вместе с Шавгулидзе в лагере военнопленных, в своей книге «Клятву сдержали» так описывает лагерную обстановку:

«В пять часов подъем. Всех выгоняли на плац, выстраивали, и старосты по баракам докладывали фельдфебелю, сколько в наличии людей, сколько умерло за ночь... Потом гнали нас получать вонючую, похожую на рвотную массу баланду. Каждый получал свою порцию одновременно с несколькими ударами...»

Поздно вечером нас разводили по баракам и с этого времени всякое хождение по лагерю запрещалось. Стреляли без предупреждения. Всю ночь лагерь освещался яркими прожекторами с караульных вышек...»

Но ничто — ни изнурительная работа, ни издевательства и побои, ни запреты, ни голод, ни страх перед смертью — не смогло сломить дух и волю советских патриотов. В лагере была создана хорошо законспирированная подпольная партийная организация, которую возглавил доктор Ф. М. Михайлов и членом которой стал Т. Е. Шавгулидзе.

Руководители организации поставили перед собой конкретную цель: обеспечить побег из лагеря возможно большего количества военнопленных, которые должны составить ядро создаваемого партизанского отряда. Исходным пунктом для побега был избран так называемый «гросслазарет», где работал Михайлов. Туда Тенгиз и заглядывал при первой возможности к зубному врачу Цыганковой «лечить зубы». О том, как он уходил на волю, можно прочесть в книге А. Доманка и М. Стойчакова «Подвиг доктора Михайлова» (она вышла в издательстве «Советская Россия» в 1971 году). Федор Михайлович Михайлов говорит одному из членов организации А. И. Манько:

«Да. Послезавтра, четырнадцатого июля, из лагеря в лес уйдет группа пленных... Создается партизанский отряд, подпольщики «гросслазарета» составят его ядро. Пойдете в Стриганы

к учительнице Нюсе Охман. Ее хата на окраине села, если идти от Славуты... С тобой пойдут Кузовков и Шавгулидзе».

Побег группы (и не одной) удался, и партизанский отряд начал действовать. Самому же Михайлову и Цыганковой не довелось выйти на свободу — они были казнены фашистами.

На Украине Шавгулидзе пробыл недолго. Он и доктор Друян (ему тоже удалось бежать) вошли в группу, получившую задание установить связь с белорусскими коллегами. Путь по оккупированной фашистами украинской, а потом белорусской земле был тернист, изобилывал опасностями, но завершился благополучно. Возвращаться же обратно Друяну и Шавгулидзе не пришлось. В белорусских лесах обоим были поручены важные дела. Первый понадобился как опытный врач, второй — как инженер.

«Мы с Тенгизом быстро обжились на новом месте, сразу окунулись в работу, — пишет Друян в упомянутой книге. — А работы обоим хватало. Тенгиз стал «главным изобретателем» в соединении и этим сумел быстро прославиться».

Было у Тенгиза и еще одно прозвище — «главный инженер». И то и другое отвечало действительности. Поначалу командование партизанским соединением предложило Шавгулидзе организовать ремонт и восстановление оружия и военного имущества. Задача трудная, но выполнена она была как нельзя лучше. Несмотря на большие сложности с приобретением станков, инструмента, материалов, с подготовкой кадров, в короткий срок в лесу и в деревнях, занятых партизанами, заработали токарные, слесарные, кузнечные, столярные партизанские мастерские.

Но помимо руководства мастерскими инженеру стали поручать заказы, выполнение которых и принесло ему славу «главного изобретателя».

Первый заказ поступил от подрывников. Случилось так, что в дни, когда фашисты гнали эшелон за эшелонами с техникой и живой силой в сторону Сталинграда, у партизан кончилась взрывчатка. Тут-то и пришел на выручку Тенгиз. Он сконструировал немудреное приспособление, названное «клином», которое сам ходил испытывать в деле вместе с командиром группы подрывников Г. А. Такуевым, ныне Героем Советского Союза. Клин оказался не хуже взрывчатки. Не один вражеский эшелон благодаря его применению завершил свой путь под откосом за сотни километров от места назначения.

В боевой характеристике, подписанной секретарем подпольного Минского обкома КП(б), командиром партизанского соединения И. А. Бельским и начальником штаба соединения Г. В. Гнусовым, говорится:

«За время действий в партизанских отрядах т. Шавгулидзе работал над изобретением средств борьбы по разрушению тыла и коммуникаций противника. Тогда, когда не было взрывчатых веществ, он изобрел «клин» для производства крушения вражеских эшелонов и сам с группой подрывников этими клиньями произвел два крушения вражеских эшелонов с живой силой и передвигающейся кавалерийской частью противника к линии фронта.

Изобретенные т. Шавгулидзе клинья применялись партизанскими отрядами Минской области в зиму 1942-1943 гг.

Потом возникла новая проблема: партизаны стали испытывать острую нужду в ручных гранатах, потребность в которых возрастала с каждым днем. Тенгиз Евгеньевич решил взяться за разработку своих, партизанских гранат и наладить их производство. Получилось и это. ПГШ-1, ПГШ-2, ПГШ-3 («партизанская граната Шавгулидзе» трех образцов) получили высокую оценку партизан. Автор книги «Люди высокого долга» изданной в 1975 году издательством «Беларусь», один из видных организаторов и руководителей партийного подполья и партизанского движения в Белоруссии, Герой Советского Союза Р. Н. Мачульский вспоминает:

«Первая мастерская, открытая в одной из партизанских бригад, ежедневно изготовляла десять-пятнадцать гранат. Тенгиз Шавгулидзе за короткое время организовал мастерские по изготовлению гранат в бригадах имени Пономаренко, имени Александра Невского и других».

Минский подпольный обком КП(б) доставил образцы гранат в Центральный штаб партизанского движения. Там с ними детально ознакомились, тщательно проверили и испытали. В заключении, подписанном 9 июля 1943 года заместителем начальника оперативного отдела этого штаба майором А. И. Пиволгиным, отмечалось, что «самое ценное свойство гранаты — возможность изготовления ее на месте. Представляется жизненно необходимым всякую попытку наладить местное производство в условиях партизанских отрядов не только поддержать, но и поощрять».

Граната и в самом деле была предельно проста, надежна в обращении и могла быть легко изготовлена из подручных средств. Корпус ее изготавливался из консервных банок, кожух (в оборонительном исполнении) — из стальной трубы, ударник с бойком — из арматурного железа, рукоятка — из дерева. Составными частями гранаты были также капсюль-детонатор, бикфордов шнур, гильза патрона автомата ППП или винтовки, предохранительная шайба, кольцо, упорная скоба и направляющая втулка. Ни одна из названных частей не была дефицитом и не вызывала затруднений в производстве или приобретении.

Заключение содержало практические советы, следуя которым гранаты можно было сделать еще более простыми, эффективными и надежными. В частности, рекомендовалось: использовать стреляные гильзы, снарядив их капсюлями-воспламенителями; для предохранения от сырости мест соединения патрона с бикфордовым шнуром и взрывчатого вещества с капсюлем заливать их смолой, варом, воском или парафином; при отсутствии арматурного железа ударник делать из дуба с вставленным металлическим наконечником.

Всего, как свидетельствует один из архивных документов, «по чертежам Шавгулидзе в многочисленных партизанских мастерских было изготовлено из подручных материалов и использовано в боевых операциях в тылу противника 10.000 различных гранат. О технико-экономическом значении работы Шавгулидзе можно судить по тому, что на переброску такого коли-

чества гранат потребовалось бы 10 самолето-вылетов, около 50 тонн бензина, не говоря даже о стоимости гранат и о потерях, понесенных противником».

Надо сказать, что из 10000 гранат ручных было изготовлено 7000. Они были незаменимы в ближнем бою. Партизанам же хотелось еще иметь гранаты, которые можно было бы метать из карабина на более дальнее расстояние. Так вот, остальные три тысячи — тоже детище «главного изобретателя» — предназначались для этой цели. Сконструировать и организовать производство таких гранат было делом также не легким. Шавгулидзе знал о существовании штатного приспособления для стрельбы ружейными гранатами, именуемого мортиркой, и самих ружейных гранат, но видеть их ему ни разу не приходилось. Решил придумать свои, да такие, массовый выпуск которых опять же можно было бы наладить в партизанских мастерских. Изобретательская сметка и на этот раз сработала прекрасно. Основой мортирки послужила стреляная гильза 45 мм пушки, корпусом гранаты — имеющиеся в изобилии металлические трубы... Испытания показали, что дальность полета шавгулидзевской ружейной гранаты достигала 350—400 м при достаточно большом радиусе поражения.

В упомянутой боевой характеристике отмечалось: «В сентябре 1943 года т. Шавгулидзе изобрел гранатомет ИРГШ. Этот гранатомет штабом руководства партизанскими отрядами Минской области принят на вооружение и изготавливается в партизанских мастерских в массовом количестве. По состоянию на 1 января 1944 г. изготовлено 120 гранатометов и более 3000 гранат». Кстати сказать, образцы ручной и ружейной гранаты, самого гранатомета можно теперь увидеть в Центральном музее Вооруженных Сил СССР.

В 1944 году Советская Белоруссия была очищена от фашистской нечисти. В разных направлениях и по разным делам разбегались партизаны. Одни в составе регулярных частей продолжали сражаться с фашистами, другие занялись восстановлением разрушенного войной хозяйства. Т. Е. Шавгулидзе, как специалиста железнодорожного транспорта отозвали в Наркомат путей сообщения.

Вернулся он в Москву с боевыми наградами — орденом Красного Знамени и медалью «Партизан Отечественной войны» II степени. А 7 апреля 1944 года командующий артиллерией Красной Армии подписал приказ № 26 о выплате ему крупного денежного вознаграждения. В приложении к приказу отмечалось: «Автор разработал и применил в тылу врага несколько типов партизанских боевых средств. Указанные средства применялись партизанами в Белоруссии и дали хороший боевой эффект. В условиях тыла противника стало возможным в партизанских мастерских изготавливать эти средства и обеспечивать боевые задания».

Сразу же по приезде в Москву Тенгиз Евгеньевич включился в работу. Снова начал действовать семейный дуэт изобретателей. Слитые воедино практика и теория, богатейший жизненный и боевой опыт, а также опыт конструкторской и изобретательской деятельности немедленно стали давать богатейшие плоды. Одно авторское свидетельство за другим по-

полняло семейный патентный фонд. Созданные в соавторстве друг с другом, с товарищами или единолично конструкции разных систем и тормозных устройств всякий раз являлись собой последнее слово техники, быстро находили практическое применение. Вот, к примеру, о чем гласил изданный в 50-х годах один из приказов заместителя министра путей сообщения: «Принять сигнализатор сист. Шавгулидзе к постановке на всех кранах машиниста Казанцева как вновь выпускаемых, так и находящихся в эксплуатации».

А сконструированный в 1958 году Е. А., Т. Е. Шавгулидзе и В. А. Гринию кран вспомогательного тормоза, значительно улучшающий управление, до сих пор стоит на каждом локомотиве.

Позднее Тенгиз Евгеньевич свои изобретательские помыслы направил на разработку надежных устройств для установки их на поезда метрополитена.

Начальник отдела подвижного состава и энергетики главного управления метрополитена Министерства путей сообщения К. Я. Серегин так отзывался об этих работах: «Тенгиз Евгеньевич внес большой вклад в создание приборов, которыми оборудованы поезда метрополитена не только в нашей стране, но и за рубежом. Современный подвижной состав не мыслится без них. От ранее известных они отличаются высокой эксплуатационной надежностью, простотой в изготовлении и эксплуатации, имеют меньше деталей».

Один из таких приборов — воздухораспределитель, над созданием которого Тенгиз Евгеньевич трудился без малого 15 лет. Сейчас он выпускается серийно под индексом 337. Его можно с полным основанием назвать мозгом всей тормозной системы, управляющим процессами останова поезда, обеспечивающим ее плавность, стопроцентную надежность, малый тормозной путь.

Второй прибор — срывной клапан автостопа, сконструированный группой изобретателей в составе Т. Е. Шавгулидзе, Н. С. Бунакова, В. А. Агафонова и других, оберегает пассажиров от возможной неприятности, если по какой-либо трагической случайности машинист поезда не отреагирует на запрещающий сигнал. Клапан без всякого вмешательства человека сам позаботится о том, чтобы обеспечить экстренное торможение.

Шавгулидзе и Бунакову пассажиры метрополитена обязаны и наличием электропневматического клапана автостопа (ЭПК) — важнейшего элемента системы, обеспечивающего безопасность движения поезда при любых возможных неисправностях в электрической цепи. Электропневматический же авторежим — детище Е. А., Т. Е. Шавгулидзе и В. Н. Чеховича — надежно регулирует тормозную силу в зависимости от массы поезда.

Многие годы Т. Е. Шавгулидзе возглавлял конструкторское бюро бывшего Московского тормозного завода, ныне завода «Трансмаш». Многие созданные в стенах этого бюро образцы нашли широкое применение и отмечены государственным Знаком качества.

Теперь на счету Тенгиза Евгеньевича более 70 авторских свидетельств. Впрочем, цифра эта временная. Когда писались эти строки, изобретатель имел еще три решения о выдаче патентов, а в оформлении находились новые заявки. Надо сказать, что на партизанские разработки заявки не подавались — для этого в военную пору не было ни времени, ни условий.

В 1974 году ветеран войны и труда получил право на заслуженный отдых, государство назначило ему персональную пенсию. Да только не такой он человек, чтобы воспользоваться этим правом. Правда, годы и жизненные зигзаги дали о себе знать — руководить конструкторским бюро стало трудно. К тому же захотелось иметь побольше свободного времени для осуществления задуманных идей. Потому-то и решил перейти на рядовую конструкторскую работу. Но порвать с родным заводом — и мысли такой нет. Да и администрация завода, партийная организация дорожат им. Его активности, энергии можно по-хорошему позавидовать. Он не только творчески мыслящий инженер, но и активный общественник: часто выступает перед молодежью, помогает молодым конструкторам в овладении сложной профессией, принимает участие в работах партгруппы, является членом совета ветеранов завода, членом заводского совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов и членом Общества советско-румынской дружбы. О неутомимой деятельности таких людей, как Тенгиз Евгеньевич, тепло отозвался товарищ Л. И. Брежнев в Отчетном докладе XXIV съезду партии. Он сказал, что после колоссального напряжения военных лет им и отдохнуть не пришлось: фронтовики снова оказались на фронте — на фронте труда, что многие из них отдают Родине свои знания и труд на заводах и стройках, в колхозах и совхозах, в научных институтах и школах.

К сказанному остается добавить, что Шавгулидзе не только талантливый инженер, изобретатель, но и хороший семьянин. Не знаю, известны ли Тенгизу Евгеньевичу и его супруге Татьяне Андреевне высказывания А. С. Макаренко о том, что, воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, и значит, и историю мира, но именно этим принципом руководствовались они при воспитании своих сыновей — Евгения и Иосифа. Первый недавно окончил механико-математический факультет, а уже с его работами можно ознакомиться в трудах АН СССР и Московского математического общества. Второй — только начал свою инженерную деятельность после окончания Московского инженерно-строительного института.

Так что эстафету деда — изобретателя-самородка и отца — бывшего партизанского «главного изобретателя» и «главного инженера», заслуженного изобретателя РСФСР, есть кому принять.

СОВРЕМЕННЫЕ
ИСКАНИЯ ГРУЗИНСКОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ

ВРОЖДЕННОЕ ЧУВСТВО ИСТОРИИ

Мои коллеги уже обратили внимание на то, что что-то традиционное в грузинской романистике изменилось, даже в самом творчестве. Дело не в проблеме «художник и вечность», потому что это было уже в «Деснице великого мастера» Гамсахурдиа. Что-то другое изменилось; изменился подход к истории, изменились способ и методы ее исследования.

Что происходит в изучении истории? В этой дискуссии было упомянуто имя Ленарта Мери. Ленарт Мери пишет, что единство исторического процесса — это открытие, которое еще надлежит совершить, подобно тому, как XIX век открыл единство органической жизни, а XX век доказал физическое единство мира. На фоне этих открытий утверждение о единстве исторического процесса кажется бледным и малоубедительным, ибо это единство, помимо всего прочего, означает, что события, далекие во времени и пространстве, влияют друг на друга. Мы можем предположить, что они микроскопически малы, но едва ли мы ошибаемся, утверждая, что они не меньше тех влияний, которые начала измерять атомная физика, описывая процессы внутри атомного ядра. Вот это влияние процессов, по сути дела, составляет внутренний сюжет книги Отара Чиладзе.

Вся судьба Окаджадо (по книге) начинается с того, что он был сыном конюха, а не царя. Он убил конюха и, приехав на родину, скопил единственного своего союзника. Этот мальчик оказался сыном конюха, другого. А в результате гибнет Фарнаоз. Вот это нанизывание маленьких фактов одного на другой, их влияние друг на друга, по-моему, очень важно.

В этом смысле что представляет собой Цотнаэ? Этот человек пассивно прожил всю жизнь, ожидая момента, когда он сможет пострадать, не активно что-то сделать для родины, а пострадать за нее.

На мой взгляд, и Григол Абашидзе занят именно этим описанием и измерением микроскопически малых с точки зрения классической художественной историографии величин, именно тех величин, которые показывают единство исторических процессов. Эта установка определяет выбор как инструментария, так и методики измерения.

В этом смысле Отар Чиладзе, как ни странно, — его последователь и продолжатель. Разница в том, что Григол Абашидзе измеряет и описывает, а Отар Чиладзе анализирует, микроскопически малые, хотя и долго действующие факторы сюда, как следственные, иные формы, жанр исследования. У Григола Абашидзе — бытие идеального героя, у Отара Чиладзе — роман. Предпослав своему житию краткий отрывок из «Картлис цховреба», Григол Абашидзе дает не только историческую справку, которая должна убедить читателя, что все произошло так, как должно было быть, что он ни на йоту не отступил от истины. Этот отрывок из летописи — еще и своеобразный жанровый камертон. Автор не спорит с летописцем, не пытается поправить его незнание своим знанием, он лишь расширяет его рассказ в пространстве, увеличивает его емкость за счет подробностей, тогда как с точки зрения общего взгляда на события, задерживается или останавливается на уровне именно летописца. Его мнение не модернизируется, не оспаривается, не романизируется, не осложняется даже в свете дальнейшей исторической перспективы. Краткий эпизод превращается в развернутое житие, в котором, в полном соответствии с требованиями жанра, свет падает лишь на те моменты биографии героя, из которых сложился его путь к подвигу. Задача прямо противоположная той, которую поставил и блистательно разрешил Тамаз Чиладзе в своем разборе «Мученичества Шушаник». Он взял житие и прочитал как остро современный, психологический роман. Вот этот его критический подход мне кажется совершенно блистательным опытом новой грузинской критики.

Повторяю, именно в напряженных, целеустремленных поисках микроскопически малых доказательств единства исторического процесса видится мне, если воспользоваться формулой Хенбаума, литературный смысл современных интересов к историческому материалу вообще, а в Грузии — в первую очередь, Частный пункт этой сверхзадачи — попытка свести к некоей универсальной системе уроки истории, прежде всего новейшей, ибо именно мировая история XX века поставила нас перед необходимостью признать, что социальный строй, объясняя многое, объясняет далеко не все, так же как расовая принадлежность, не говоря уже о национальной. А раз так, то для объяснения катаклизма мирового масштаба необходимо пробиться к неким психологическим константам, прямо не связанным с расовыми, социальными, национальными факторами. Отсюда поиски историко-психологических структур, как бы досоциальных, дорасовых, донациональных, однако с тем, чтобы, добравшись до сути, до сердцевины той или иной константы, тут же сделать поправку на расовое национальное построение, т. е. ход в следующую мысль — обратно привычному действию биографии классического толка, которая начинается всегда с социально конкретного.

Я настаиваю на этой формуле потому, что у меня есть основание предполагать, что этот дерзкий грузинский эксперимент сведется к простейшим вещам, к мысли — использовать вне-временные ситуации и сюжеты для реализации специфических современных проблем, т. е. к чисто эзоповской форме. А мне

кажется, что проблема гораздо шире, важнее, и недаром этим занимаются романисты всего мира. Тем более, что в подтверждение этой мысли можно сослаться и на авторитет автора. Вот-на. Я имею в виду следующий пассаж из авторского послесловия к этой книге: «Природе человека присуще что-то постоянное. В человеческом обществе есть некий постоянный для всех времен фон».

На мой взгляд, мысль Григола Абашидзе тоньше, сложнее и полемичнее. Полемичнее прежде всего по отношению к исторической беллетристике 50-х годов, которая пыталась узаконить под видом постоянного фона те самые анахронизмы, в борьбе с которыми осознает себя новая грузинская проза.

Чтобы не быть голословной, позволю себе привести еще одну цитату из того же послесловия. «Содержание понятия — неизменный фон — должно быть определено точно, и применение этого фона не следует расширять, допуская непосполнительные анахронизмы, иначе говоря, нельзя приписывать героям прошлых эпох чуждые им современные нормы морали, поведения и т. д.».

В том, что полемический запал Григола Абашидзе не беспочвенен, убеждает нас даже такое талантливое произведение, как «Десница великого мастера». Роскошно проработанный фон, колоритные характеры, но попробуйте отвлечься от этой декоративной, постановочной роскоши и проследить отношение автора к такому важному моменту средневековой жизни, как религия, — обнаружится вопиющий анахронизм. Я имею в виду не антураж, а психологию. Ведь среди героев этого романа нет практически ни одного истинно верующего, начиная с самого Георгия — политика от христианства и каталикоса Мелкиседака — демагога от христианства и кончая Константином Арсакидзе, строителем Светицховели, таким, каким изобразил его Гамсахурдиа. Простой грузинский юноша в простой чохе, занятый только своими любовными переживаниями, только мастер и всего лишь мастер, просто-напросто не мог совершить того архитектурного подвига во имя торжества Христова, каким является этот гениальный памятник.

Отчетливее всего мне представляется этот сдвиг, характерный для тех лет, в эпизоде с отравленным животворящим крестом. И дело не в самом факте истории христианства, тем более средневекового. Она знает примеры куда более циничные. Дело в том, как реагируют на этот факт герои Гамсахурдиа, скажем, зять эристава Мамзе. Он ни на минуту не усомнился в том, что это чудо возмездия — дело рук человеческих. Это реакция даже не закоренелого язычника, это реакция убежденного атеиста и политика.

Прежде всего я хочу, чтобы приведенные выше факты не были истолкованы как посягательство на заслуги классиков грузинской исторической романистики. Если я ввожу этот новый сравнительно мотив в рассуждение о романе Григола Абашидзе, то только для того, чтобы показать, как изменилось время, то самое время, которое дышит нам в затылок и придерживает любую десницу, даже если это десница великого мастера. В том, чтобы изобразить людей XIII века, исходя из ти-

пичных для этого века представлений о мире, о божестве, о человеке, прежде всего, — именно в этом мне видится значение жития Цотне Дадиани, написанного Григолом Абашидзе.

ЖИ-1935020
2022010333

Для того чтобы признать историческую концепцию известного автора XIII века не требующей никакой коррекции, т. е. признать ее абсолютно правильной, надо было еще иметь и охранную грамоту, заверенную большой королевской печатью.

Единственно, в чем я еще никак не могу согласиться с Григолом Абашидзе, так это с его убеждением, что сила таланта художника измеряется не тем, насколько точно он воссоздает внешнюю историю определенной эпохи, — это под силу любому педанту средней руки. Настоящее творчество начинается с того момента, когда художник, изображая исторического героя, начинает понимать то неизменное, что является общим для всех людей.

Я понимаю, что представление это возникло не на пустом месте и как тактический ход направлено на подрыв авторитета декоративной романистики, пытающейся замаскировать обилием вещей, деталей неумение содрать кожуру с предмета и ввести в него общие мысли, вернее полное их отсутствие. Тем более, что при ближайшем рассмотрении очень часто оказывалось, что большинство реалий, запущенных исторической романистикой образца 50-х годов в литературный читательский обиход, вовсе не относилось к числу редкостей, а просто было самыми элементарными подделками. Все это так, и тем не менее никуда нам не деться от того, что историческим романист становится тогда, когда ему есть что добавить к общему. Только синтез изменяемого и неизменного, т. е. принадлежащего только отдаленной от нас эпохе и вместе с ней исчезнувшего, создает истинно исторический роман. Правильность этой установки подтверждает, кстати, и практика самого Григола Абашидзе, который при всем своем теоретическом почтении к неизменному факту не во внешних, во внутренних своих исканиях, внимателен к реалиям временного, а иногда невременного порядка, хотя о настоящем синтезе этих двух начал говорить, конечно, не приходится. А между тем воссоздание той стороны минувшей эпохи, которую Григол Абашидзе называет внешней, требует от романиста, кроме редко встречающихся особенностей таланта, — дара исторического воображения, я бы даже сказала, ясновидения. Эту необходимость ясновидения чувствует каждый, будь то романист, литературовед или публицист, когда по тем или иным причинам он остается один на один с необходимостью реконструировать прошлое.

Вот что пишет по этому поводу Ленарт Мери: «Иногда я с удивлением спрашиваю себя — почему научная фантастика не направила острие своего копья в прошлое, ведь оно намного фантастичнее нашей реальности и одновременно куда реальнее нашей фантастики».

Мне не случалось читать ни одного исторического романа, герой которого рассуждал бы о строении мира по системе Птолемея или верил бы, что земля плоская... Неизвестность бес-

конечна, знание — окончательно, недвусмысленно и просто. Незнающему легче прикинуться знающим, чем знающему притвориться, что он ничего не знает. Сможем ли мы восстановить прошлое хоть чуточку реалистичнее, чем воображаем будущее».

Скептицизм Ленарта Мери может показаться издержками многознания, но он все-таки оправдан. Настоящих исторических романистов, в полной мере ощущающих фантастичность прошлого, очень мало, куда меньше, чем истинно прекрасных произведений других жанров. В русской художественной историографии их, на мой взгляд, всего четыре — это «Капитанская дочка» Пушкина, «Песня о купце Калашникове» Лермонтова, «Петр Первый» Алексея Толстого и «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянова. Из новейших произведений я назову, — вы его, наверное, не знаете, — биографический роман Титова о Лермонтове. Роман в общем несовершенный, даже местами безвкусный, но там есть несколько сцен, по-моему, поразительных. Ему бы Тынянов позавидовал.

Скудная золотая библиотека русской историографии, конечно, все время пополняется за счет вещей, которые когда-то в начале своей литературной жизни были вещами сверхсовременными, но опять же только за счет тех авторов, которые были внимательны к внешней стороне жизни, к тому движимому фону, который обречен на исчезновение.

Таким историческим романом стал «Евгений Онегин», стали «Отцы и дети», но «Преступление и наказание» Достоевского не стало, не стал и «Герой нашего времени» Лермонтова. В этом смысле «Герой нашего времени», — может быть, я говорю вещи парадоксальные, — куда беднее, чем, скажем, та же «Княгиня Лиговская» Лермонтова, в которой больше историзма, исторического романа, чем в «Герое нашего времени».

Больше того, я убеждена, что спрос на романы подобного типа с деталями жизни, с вещами, с человеком, без стилистического напряжения, без декораций не зависит от моды, хотя, разумеется, мода на всякого рода декорации, исторические ревию типа сочинений Васильева — «Были и небыли», в полной смеси со всем остальным, может как-то этот интерес погасить и отодвинуть с авансцены.

А вот интерес к документу, о котором говорили мои коллеги — о необходимости очень точного анализа художественного, социального, всяческого в конкретных ситуациях, — он никуда не денется и никуда не пропадет, он необходим потому, что условно этот исторический роман, которым мы сейчас восхищаемся, который мы принимаем, он может существовать только в паре с ним. Вот почему я хочу ввести в круг обсуждения за нашим «круглым столом» «Волшебное дерево» Георгия Леонидзе, потому что эта книга представляется мне истинно историческим романом, пусть предроманом, как бы романом из отдельных частей, из отдельных рассказов. Больше того, мне почему-то кажется, что именно вокруг этого родового древа Георгия Леонидзе со временем разрастется священная роща.

иверское древо. Я извиняюсь за такую красоту, но тем не менее я думаю, это будет так, и залог этому дань долгой памяти и врожденное чувство истории, которые представляются мне симпатичнейшей чертой как грузинского характера, так грузинской жизни вообще — и бытовой, и духовной.

Поначалу автор вроде бы ни на что другое не претендует, когда протягивает своим читателям деревянное резное блюдо из золотистых плодов воспоминаний, однако, чем пышнее становится крона волшебного дерева, тем явственнее ощущаешь скрытое присутствие в романе мысли. Тем отчетливее понимаешь, что это не собрание портретов, не разнообразная галерея живых и ярких характеров, как написано в редакционной сопроводилровке, что эти характеры находятся в сложной, напряженной связи, что поистине роман — их отношения. И если эта напряженная взрывчатость чревата самыми резкими конфликтами, связь почти не переходит в открытое столкновение, не проявляет себя в действии, держится в состоянии динамического равновесия, в этом повинен жанр романа, который прикинулся книгой детских воспоминаний, но мы легко можем себе представить, что произойдет, когда эта громада двинется, рассекая волны моря житейского, и тогда волей-неволей все смешается, — и широкая правда деревенского философа Чорехи, сжигаемого открытым огнем патриотизма, и узкая — правдоискателя Бунбулы, страсть к земле, скопидомство Хведии и любовь свободолюбца Чирика. И богатырь Тагна, превращенный беспросветной нуждой в лежебоку, очнется от своего летаргического сна и предъявит счет феодалу Кадору, этому грузинскому Бурбону, который ничего не понял и ничему не научился, — настолько ничего не понял и ничему не научился, что не нашел ничего более уместного, как явиться к комиссару с требованием, чтобы ему вернули его родовое владение, горное пастбище, чтобы было князю на что жить и чем прокормиться.

Кстати, «Феодал» — единственный рассказ в «Волшебном дереве», фрагмент, в котором действие происходит в первые послереволюционные годы, остальные герои так и остались в дореволюционном прошлом. Рассказ этот, как мне кажется, выполняет роль своеобразного эпилога, хотя и находится не там, где положено. Эпилог должен быть в самом финале романа.

«Волшебное дерево» кончается рассказом о Бунбуле, цирюльнике, и, думается, это не случайно. Воспользовавшись той композиционной свободой, которую предоставляют роману из отдельных рассказов, Георгий Леонидзе оставил его без конца. Формальную точку, которую требует такое открытое повествование с открытой композицией, он перенес в самую середину книги. Таким образом мы получили несколько странную по своему устройству (я имею в виду хронологию) вещь. Подробно освещены первые предреволюционные годы, годы мировой войны. Эпилог переносит нас в атмосферу 20-х годов, а революция опущена под тире. Правда, она все-таки присутствует, но в преображенном, метафорическом виде. «Внезапно

молния прорезала небо, грянул гром, потом бухнул еще раз. Грохот раскатился по небу и, наконец, после долгого гудя, рыка и рокота из черно-синих туч брызнули на землю миллионы алых капель, а потом хлынул проливной дождь, обильный как из ведра. Он яростно хлестал, сек, бурлил. И вдруг, нарастая и постепенно перекрывая шум ливня, послышался жуткий, леденящий треск, — повалил частый град, заскрежетало, загремело по крышам. Сначала сыпалась крупа, потом запрыгали градины в горошину, а реже — в голубиное яйцо, а там покатались как бы настоящие булыжники. Все вокруг вихрилось, кипело, дробилось, разламывалось на части. А Кадор бормотал над стаканом вина, жаловался на несправедливость судьбы, — почему он один должен расплачиваться за грехи своих предков, и тщетно искал ответа на этот вопрос». В этом отрывке вся поэтика, вся образная метафизика поэзии революционных лет. Словом, революция в романе все-таки присутствует, но лишь как поэтический образ, а не как прямой сюжет, ибо у Георгия Леонидзе другая цель, ведь его интересуют не просто деревенская жизнь и деревенские типы, — хотя и это тоже, — а как бы мозаика национального характера накануне крутого поворота истории.

Нет одного национального характера, — пишет Лихачев, — есть много характеров, особенно, но не исключительно свойственных данной нации. Эти характеры часто противоречивы, некоторые из них канули в прошлое, некоторые вновь появляются. Это целая ассоциация характеров. Одни из этих характеров и типов выросли на основе многовекового развития, другие мелькнули на национальном горизонте и исчезли. Необходимо изучить эти национальные характеры, а главное те сочетания, в которые эти характеры входили, ибо человек не существует сам по себе; один тип существует потому, что есть противоположный ему тип, характеры как бы дополняют друг друга. Это сообщество характеров и типов, и оно движется вместе с движением истории. Ни характеры, ни их сочетания не остаются неизменными. Они развиваются, усложняются и воспитываются историей.

Как сообщество, сочетание, ассоциация встает перед нами нестрое многолюдство в «Дата Туташхиа», однако для него сшит как бы боковой, почти служебный сюжет. Автор не столько изучает, сколько использует это эффективное разногласие в своих целях. Серьезному изучению явно не способствует классификация этих характеров и типов — или орел, или стервятник, или птица безгрешная. Правда, эти слова принадлежат не самому Амирэджиби, а графу Сегеди, но, судя по всему, они вполне устроивают и автора. Во всяком случае, эта схема не жмет ни одному из персонажей «Дата Туташхиа».

А теперь попробуйте с этим метафизическим измерителем подойти к героям «Волшебного дерева», и ничего не получится. К какому виду относится, к примеру, Цицикоре, самозванный деревенский голова и погубитель Мариты, той самой Мариты, которая для автора «гений чистой красоты», неизвестно откуда приходящий и куда уходящий. Казалось бы, это стервятник, но ведь он же и орел, ибо высокомерие, с которым он блюдет границы своей деревенской державы, и зоркость, позволяющая

ему видеть дальше своих односельчан, даже гордость его — непомерная, настолько непомерная, что смахивает уже на смиренные, а ведь эти качества скорее орлиные, чем стервятничьи. Чорехи, а Бунбула, а Фуфала? Кто она, райская птица в образе полусумасшедшей нищенки или на самом деле пугало огородное?

Казалось бы, зафиксированную Георгием Леонидзе ассоциацию характеров можно разделить на две подгруппы, на два лагеря — это ревнители вековых устоев и их разрушители. Но эта классификация не соответствует реальной расстановке сил потому, что многие герои «Волшебного дерева» оказываются столько же хранителями, сколько и разрушителями. И это, видимо, не случайно, ибо Георгий Леонидзе работал по другой программе. Полвека, отделяющие его от времени его детства, казалось бы, достаточны для того, чтобы определить, какая ветвь родового дерева уже не дает ни золотых плодов, ни свежих побегов, а какая продолжает еще цвести и плодоносить. Однако Леонидзе — опытный садовник — отнюдь не торопится с окончательным диагнозом, дерево ведь волшебное, и чем черт не шутит.

Кстати, отсутствие в авторском инструментарии садовых ножниц еще раз подтверждает, что перед нами произведение истинно романного типа, имеющее дело с действительностью, которая не дает конца.

Хочу обратить внимание читателей Георгия Леонидзе на сюжетную часть, на то, как расширяется в этой книге пространство. Поначалу это одна деревня, та самая деревня, где прошло детство автора, и место ее указано совершенно точно — на берегу сереброструйной Иори с песчаными отмелями, кустарниками, зелеными рощами и шелковой муравою лужаек. Затем эта вполне конкретная деревня как бы расширяет свои границы, перешагивает через них. Мы это не замечаем. И потом эта деревня оказывается типичной грузинской деревней времен детства поэта и в совершенно нелитературоведческом смысле этого слова.

Нужно сравнить два рассказа — «Под одной сенью» и «Речка Нишардзеули». Вроде бы автор по-прежнему остается в пределах своей деревни. Свое повествование он начинает с того, что Форэ завел в деревне жатвенную мельницу, но посмотрите, как климат-то изменился, куда все исчезло, и эта влажность, эта благодать, и эта роскошь, которая роскошна даже в лохмотьях; Паленый овраг, Каменная балка, Глинистые ухабы, Сухоречье, Озерное дно, Руслище, Высохший ручей, Мертвая роща. Так назывались места и урочища возле нашей деревни, — как будто ее и нет, она ушла, исчезла. По названиям можно было догадаться о недостатке воды.

Вот так, постепенно расширяясь и присоединяя все новые и новые территории, пространство «Волшебного дерева» становится как будто моделью Грузии, уменьшенной картой, ее копией.

В связи с «Волшебным деревом» Леонидзе возникает вот какое предположение. А что если своеобразие новой грузинской прозы, исторической в том числе, определяется, — я не беру идеологические аспекты и прочие, — еще и тем, что она берет

начало от другого корня, т. е. не является прямым продолжением предшествующей прозаической традиции.

Виноградов в статье о стиле Лермонтова писал: на первую треть XIX века приходится расцвет мировой культуры и связи с этим фактор развития ритмической и политической прозы, т. е. стиля, который формируется и эволюционирует в тесной зависимости от стихотворного языка. Не отсюда ли свойственные грузинской прозе интенсивность, плотность письма и свобода от приемов канонического сюжетостроения, сложный и ручной способ обработки слова. Короче говоря, явное преобладание художественного элемента над элементом узкосодержательным. Не этим ли объясняется и быстрота ее формирования, равно как и взлетевшая до уровня мировых стандартов ее эволюция. Высшей точкой мне представляется роман Отара Чиладзе «Шел по дороге человек».

И может быть, не случайным является тот факт, что в авангарде этой новой прозы, стремящейся пересадить на почву прозаической речи такую грамматику чувств, оказались не чисто прозаики, а поэты, перешедшие на прозу. Ведь именно они, в первую очередь, должны были столкнуться с такой щекотливой проблемой, как крайне низкая сюжетоспособность современного быта. Именно их должна была соблазнить роскошная фактура исторического материала, которая с лихвой окупает затраты на разработку и построение.

Удивляясь ускоренным темпам развития новой грузинской прозы, мне кажется, не надо забывать и о том, чем это объясняется. Это объясняется тем, что она присвоила себе читателя, который был воспитан грузинской поэзией, получила его в готовом виде.

Я немного скажу об Отаре Чиладзе, несколько не претендуя на общую оценку, потому что это произведение требует отдельного, серьезного и монографического по всем параметрам анализа.

Я только один момент возьму. Рассматривая вышиваемое полотнище величиной с парус, которое сложено в четверть и так похоже на огромную книгу, дочь Ухеиро отмечает про себя не только красоту и соразмерность узоров, существующих словно бордюр к тому, что творится на этом полотнище, но и хрупкость этой красоты и этой упорядоченности. Здесь у всего свое, принадлежащее ему место. Стоило только пошевелить, сдвинуть или изменить какую-нибудь самую незначительную часть этого мира, чтобы все спуталось, пришло в смятение, и воцарилась неразбериха.

Сказанное в полной мере применимо к самому роману. Разделив повествование на три крупных куска по числу трех цветов времени, это — золотой, цвет Ухеиро, как цвет пролитой им крови, — красный, цвет Фарнаоза — пепельно-серый, цвет камня и каменной пыли, — Отар Чиладзе покрыл каждый из этих кусков полотно вышивкой столь тонкой, что самый незначительный сдвиг или замена грозят неразберихой и смятением, опасными для целостности эстетического восприятия.

— По-моему, просто счастье, что этому роману повезло с переводчиком. Элисбар Ананишвили не сдвинул ничего со своего, принадлежащего ему места, ни одну из мелочей. А ведь

сдвиги могут возникнуть не только при переводе, но и при восприятии читателем и даже не всегда из-за непривычки к пристальному чтению, а просто-напросто от неправильно ориентированного внимания, танцующего как от образца от прозы, обладающей куда большим запасом прочности — смысловой, композиционной и стилистической.

Однако в этой тонкости нет ни претензий, ни жеманства, ни манерности; есть только извиняющаяся скромность огромного эстетического ума. Это не комплимент и не метафора, это термин, бытующий в современной психологии, совершенно уникальной по своей изобретательности и щедрости дара органической фигуральности, — как Есенин определял истинный имажинизм.

Вот такая деталь, по которой можно судить о как бы плотности письма Отара Чиладзе. Выходя из своих покоев в день приема, устроенного Аэтом в честь чужестранца Ясона, дочь царя Медея слышит краем уха разговор пробегающих мимо служанок, слышит, не слушая, не вникая, занятая собой, своими мыслями, предчувствиями, переживаниями. Все-таки обрывок чужого разговора зацепился за ее слух — так на заборе мог бы остаться вырванный клочок зацепившегося головного платка. Но вот дочь Аэта увидела приближающегося ко дворцу Ясона и тут же, как по части целое, по клочку платка — платок, восстанавливает до полного объема обрывок услышанного в коридоре разговора. При виде гостя он обретает и смысл и значение.

Казалось бы, локальная подробность, только деталь, одевающая плоть, внутреннее состояние героини, этот итог исчерпал себя, но Отар Чиладзе продолжает его движение, его струение, переводя его из внутренних покоев во внешние, причем при повторении этот метафорический рисунок оказывается вышитым другими нитками, другого цвета и другой фактуры. Теперь это вполне реальный клочок девичьего головного платка, зацепившегося за перекладину или шероховатость забора. Медея увидела внутренним взором и зацепившийся за забор клочок платка, который беспомощно развевался по ветру как некое однокрылое, не способное к полету создание.

Исчерпав свои энергетические потенции, первичный итог умер, но при этом родил новый образ, новую служебную метафору—однокрылое, не способное к полету создание. Эта дочерняя метафора беднее материнской. Произошла травма — потеряно крылышко. — потеря незначительная, но попробуйте не заметить, не отреагировать на нее. Ведь назначение потерянного крылышка — помочь нам угадать тот сверхсмысл, то предсказание, которое было спрятано на самом дне уже первичного образа. Мы должны вернуться к нему, вспомнить его, когда царская дочь бежит за этим заезжим авантюристом; ночью, тайком, словно служанка, перемахнет через забор отцовского царства, без сожаления, без угрызений совести, оставив на ограде клочок девичьих своих воспоминаний.

Больше того, этим как бы предсказана вся будущая судьба Медеи. Не медноперой царственной птицей улетит она на чужбину, а сломленной своим преступлением, не способным к полету созданием, ибо в человеке, ради которого она пожерт-

вовала тем, чем жертвовать нельзя, нет ничего от героя, кроме героической внешности, — ни великодушия, ни истинной страсти, ни широты, ни щедрости. Короче, суть не в том, что Оtar Чиладзе охотно пользуется услугами старомодной, казавшейся бы, отслужившей метафоры, а в том, что в его руках она получает второе дыхание.

Гениальный дрессировщик, добрый Оtar Чиладзе научил ее всему. Она и декоратор, и комментатор, и конспиратор, астролог и предсказатель, ловец неуловимого времени и погонщик тяжелых упряжек смысла. Одни из них струятся, являя излика лик, другие развернуты, реализованы, поставлены, превращены в театрализованные зрелища.

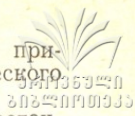
Сценарием для такой постановки может служить какой-нибудь избитый, стертый, пошлый троп, — вроде того, что она ее на руках носит или она холодная женщина. Чем пошлее сценарий, тем фееричней представление. Но вот что в общем-то интересно — несмотря на сверхизобретательность, парадоксальность и остроумие, несмотря на сверхпрофессиональность, режиссер-постановщик и втянутые в действие актеры умудряются сохранить серьезную, наивную важность ребенка, играющего непонарошку. Установка на непонарошку передается и нам, читателям, и с нами происходит нечто подобное тому, что происходило с раненым Ухеиро, когда ему жена Марехи рассказывала разные невероятные истории и им хотелось верить, ибо это было странно, прекрасно и выше всякой правды.

Сказанное справедливо не только по отношению к этим тропам, мобилизованным, но и к роману в целом. Если отталкиваться от чисто внешних жанровых признаков, то «Шел по дороге человек» — произведение условно исторического жанра, т. е. жанра, отеснившего первичный рассказ о жизни на периферию повествования, а главное — лишившего его способности воздействовать на наши органы чувств непосредственно. Высокоинтеллектуальная игра с первичными рассказами о жизни знает только один тип связи через интеллект, однако Оtar Чиладзе, которому, при всем том, что выстроено его мышление, в высокой интеллектуальности никак не откажешь, тем не менее заставил нас воспринимать включенную в его игру якобы жизнь на уровне наивно классического сопереживания. В tomto и фокус, что, работая, казалось бы, в условном жанре, автор умудрился не утратить главных очарований классики, упительной гармонии, способности исторгать слезы, если перефразировать пушкинское: «Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь».

Внимательный читатель античного романа Чиладзе наверняка обратил внимание на то, что его метафорические новеллы, например история женитьбы царя на холодной женщине, эти сюжеты — метафоры, такие ангелические, входят на тех же правах в текст, как и эпизоды сугубо реалистические. Они вклиниваются в основной текст, срastaются с ним. Подобного рода образы Есенин называл ангелическими и считал, что на них построены почти все мифы.

С помощью этих архаических ангелических тропов Оtar Чиладзе входит в сверхконтакт с мифом как жанром и с дей-

ствительностью, способной к первичному мифотворчеству, прикасается к грядке, еще помнящей запах этого экзотического цветка.



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Содрав кожуру с златорунного мифа, раздробив его косточку, чтобы доказать, что ядро — спрятанный, спрессованный в мифе роман об аргонантах, Отар Чиладзе вовсе не собирается отказываться от того, что было между кожурой и косточкой — от плоти — мякоти плода. Разумеется, чувственная плоть мифа преподносится нам не в натуральном виде и даже не в виде сока с мякотью, а в состоянии сложного романного коктейля. Роман, интегрирующий архаику и современность, — я подчеркиваю — интегрирующий, а не просто плоско и сугубо утилитарно использующий историю для современных надобностей. Интеграция Отара Чиладзе растягивает плоть мифа до такой прозрачности, а время золотого руна до такой медленности, что савозь его мили начинают сквозить мгновения всей вселенной. Свой парус, это полотнище с парус величиной, он всегда поворачивает так, чтобы поймать многоликое, вездесущее и неуловимое время. И вот это время является сокрытым двигателем романа.

Я не знаю, куда выведет предложенная этим романом литературная дорога, но одно несомненно — роман этот и творчество Отара Чиладзе в целом принадлежат к тем явлениям, которые, по определению Писарева, электризуют даже такого человека, который далек от него по своим творческим установкам, ибо освежает и обновляет жизнь и тем, что в нем хорошо, и тем, что в нем дурно.

Саргис ЦАИШВИЛИ

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ

Два, преимущественно, источника питают каждого большого поэта: ощущение родных корней и его личная судьба, крепчайше связанная с судьбою родины. К числу таких художников и принадлежит Георгий Леонидзе. Два этих животворящих фермента придают его стихам и неповторимый колорит, и широчайшую масштабность: «Я корневищами пророс к земле родной, и пусть она мне умереть прикажет, — ни часа, ни минуты ни одной, не попрошу взаймы мгновенья даже».

Доля родной страны передана и воплощена в его стихах с могучею силой всепоглощающей страсти, а ее история, ее прошлое воскрешено в его слове с заклинательной энергией чудотворца. Здесь с горем и мýкой на равных правах соседствуют или передаются надежда и вера, упование и убежденность. Он уверен, что именно нестигаемая натура и непоколебимый характер грузина обеспечили отечеству победоносный выход из мглы веков, из глубины столетий: «Нас сжигали живьем, но отнять не смогли гордой вольности дух и стремленье к свободе».

«Гордой вольности дух» — не случайная здесь фраза и не риторическая фигура — это один из ведущих мотивов его поэзии и он буквально пронизывает все его романтически приподнятые, взволнованные и неизменно волнующие стихи. Неизбывная вера в бессмертие народа и родины живет в каждом его творении: «А ты стоишь, хоть морем крови, дождем огня поглощена... Кто не мечтал тебя угробить, но сгинул враг, а ты — вольна!». Судьбы родины, ее прошлое и настоящее — вот краеугольные основания мироощущения, мирочувствования поэта.

Его красочные и звучные стихи как бы исконно отличались редкой цельностью и прочностью кладки. Им был пройден большой творческий путь от времен ордена «Голубые рога» и до наших дней, но внутренние основы и природные свойства поэзии Георгия Леонидзе оказались незыблемыми, раз и навсегда определенными... Его поэтическому кораблю было суждено плыть своим путем и стремиться к своим заветным далям.

Трудно говорить о глубоко самобытном и резко индивидуальном поэтическом почерке Леонидзе, не прибегая к своему рода антиномиям. Эпические и лирические начала каким-то невидимым и неведомым волшебством переплетены в его поэзии, мужественная стойкость и самоотверженность в ней отнюдь не лишены той утонченности и трепетности, без которых невозможна поэтическая тайнопись и задушевная исповедальность. На смену диким воплям тамерлановых орд в его стихах приходят и весеннее пробуждение голубоглазых фиалок, и журчание волн родной Нори...

Его поэтические видения многоцветны и многозвучны. Поэтому, мягко выражаясь, не так уж точны те определения, к которым столь часто прибегают, желая определить отличительные признаки леонидзевского голоса — громовой, могучий, энергичный... В таких характеристиках есть, разумеется, известная доля истины. Некоторые его стихи вполне заслуживают и таких эпитетов. Например: «Что ж ты издала красуешься — пусть сшибаются сердца, грудью в грудь сойдясь, учуем мы всемогущество творца», или: «Я сердце свое сокрушу, чтобы высечь заветную искру».

Но такие оценки и такое восприятие все-таки весьма односторонни и нацелены они в основном на признаки формальные и ориентированы скорее на оттенки интонационные, чем на истинную внутреннюю природу его поэзии.

А вот что следует, в первую очередь, подчеркнуть среди отличительных свойств поэзии Георгия Леонидзе, так это поистине богом дарованную способность непосредственного, первородного выражения желаемого, задуманного, подступившего к устам чувства, мысли, страсти, ощущения. Его шедевры как бы созданы на едином дыхании, на одном выдохе, и любого читателя они одаряют именно чувством этой первозданности, наполняют радостью ощущения такого первородства.

Было бы наивно предполагать, что все это неосознанная непосредственность или влияние народно-поэтического интонационного потока, которому такое доверие оказывал всегда поэт. Этот завораживающий поэтический эффект — итог многолетних титанических усилий, но итог такой, что нам нигде не дано учуять, какие муки и страсти таятся за каждой строкою или строфою мастера. Сложное художественное мышление тут является как бы тем фильтром, который «порождает» столь пленительную простоту и непосредственность.

Непонятно, хоть убей,
Снег ли это, или сокол
Гонит белых голубей
Мимо звезд?.. И, скинув стегань,
Сони в звездном терему
Жмутся у оконных стекол,
Сонно глядя в эту тьму.
Тише! Слышу шум погони.
Дайте я ружье возьму
И на скакуне проворном
(Конь ячменного раскорма)
Брошусь в эту кутерьму.

Бах! Но мимо. Улетели.
Уплывают по стрежню!
Молодость моя, ужели
Я тебя не догоню?



Непобедимая сила молодости, замешанная на терпкой горечи сожаления и тревожных предчувствий, выражена здесь на высочайшем поэтическом уровне. Сокровеннейшая мощь этих стихов, наверное, в том, что за непосредственностью поэтического высказывания таится утонченная артистическая душа художника. И эта возведенная в степень высокого поэтического ранга непосредственность придает неповторимую леонидзевскую окраску его бурным и неудержимо-стремительным стихам. «Как из глубин средневековья среди сна я просыпаюсь вдруг, разбуженный твоей любовью, я слышу в ставни ветра стук. Наверно с бурей нету сладу, на улице середь бела дня. Мне в мире ничего не надо: ты день и буря для меня».

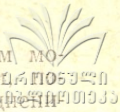
В силу всего вышесказанного даже явно окрашенные в народные тона стихи несводимы к народно-поэтической интонации и являют собою совершенно особый поэтический строй. Это в равной степени относится не только к строчкам трепетного артистического звучания: «Пусть любовь, как меч Тамерлана, рассечет меня в час набега! Где ты, ночь, что благоуханна? Где ты, юная дочь атабега?» — но и к стихам, как бы внезапно, подобно выдоху или выкрику, высказанным: «Кто луны средь небосклона став портным, скроил ее? Кто, как меч неугомонный, сердце выхватил мое? Ты меня блюла, Иори, брызгами кропя елея, выменем стиха вскормив, и чудесней нет узора, чем процеженный твоею сетью — берегов извив».

Георгий Леонидзе был широко образованным человеком с глубоким и «цепким» умом, что всегда ощущали и мы, его младшие друзья. Он обладал особым даром творческого контакта с молодежью. Но меня всегда поражала одна особая черта его характера. Он недолюбливал досконально-рассудительные разговоры о поэзии, тем более со стороны самих поэтов. Не раз бросал он мимоходом, что это — не поэтское дело, что поэт должен воспринимать стихи в их цельности, как, скажем, поле, вышитое узорами цветов.

Вкусом он обладал безупречным. Ничего не могло укрыться от его пронизательного взора, а появление каждого нового таланта переполняло его истинной радостью. Как сейчас помню его озаренное восторгом лицо в дни блестящих поэтических дебютов Анны Каландадзе и Мухрана Мачавариани.

Он был отличным знатоком и ценителем современной грузинской, да и вообще современной мировой поэзии. С особым благовоением относился он к нашей поэтической классике, что видно и по его многочисленным литературным исследованиям.

Изведав бурю и натиск модернизма (что не прошло для него даром и в известном смысле оказалось плодотворным), он все же остался по своей натуре традиционалистом в лучшем и благороднейшем смысле этого понятия. Он считался в свое время одним из активных членов ордена «Го-



лубые роги». Это не следует объяснять лишь увлечением модой. С голубороговцами его сближали, главным образом, истински нового, одержимость борьбой с эпигонским наводнением, грозившим поглотить в ту пору грузинскую поэзию. Не следует забывать и того психологического вполне понятного обстоятельства, что грузинские символисты и одаренностью своей и образованностью заметно выделялись на общем фоне грузинской литературы тех лет, что оказалось для него и своеобразной школой мастерства и высокой ареной благородного соревнования. Но, повторяю, поэзия Георгия Леонидзе по внутренней своей устремленности являлась как бы «антитезой» модернистического направления, и поэт никогда не сворачивал с пути здорового, сугубо жизненными эмоциями насыщенного искусства.

Он кровно был связан с глубинными основами родной поэтической культуры, а это, в свою очередь, ко многому обязывало. Как истинный художник, он знал, что любовь и преклонение отнюдь не исключают соревнования и что освоение старой поэтической культуры лишь условие и почва для новых художественных поисков. Все эти «связи» под разным знаком и в различном качестве сказываются в его поэтическом слове. В некоторых стихах Георгия Леонидзе строки, как бы пропитанные земной свежестью, озвучены явно в важа-пшавеловской тональности: «За мечтой любви вершитель, вздыбленный, иду кругами. Где моя — мне покажите, чтоб удариться рогами!»

Конечно, здесь следует говорить лишь об отдельных совпадениях, вернее, встречах или перекличке, ибо, по сути, мифологический поток Важа Пшавела в известном смысле чужд кругу образных видений Георгия Леонидзе, порожденных лишь ему близкими и свойственными жизненными импульсами. Важа-пшавеловское начало здесь дает себя знать больше в элементах формы, что в свою очередь обусловлено тяготением обоих поэтов к фольклорным интонациям.

Знаменательная параллель может возникнуть в данном случае при сопоставлении с Григолом Орбелиани. И если память мне не изменяет, это обстоятельство еще не было отмечено в грузинской критике. Особенно наглядны в этом отношении свободные, раскованные интонации автора «К Яралу» и ярко выраженная артистичность его стихов. Из дальних же предшественников особо следует выделить творческую соотнесенность Георгия Леонидзе с Давидом Гурамишвили, о чем даже прямо заявлено поэтом в одном из его стихотворений. В старой грузинской литературе искуснейшим мастером непосредственной поэтической речи был именно Гурамишвили, и что удивительнее всего — даже в тех стихах, которые были наполнены сугубо мистическим содержанием. Даже духовные гимны и песнопения обогатил он живым, земным потоком, проторив тем самым новые поэтические пути. А разве случайно, что и Важа Пшавела первейшим своим предтечей считал как раз Давида Гурамишвили?

Грузинская литература и фольклор (эти взаимосвязи относительно лучше изучены в нашем литературоведении), грузинская действительность, с такой интенсивностью и глубиной

пережитая и воплощенная в поэзии Леонидзе, образуют в ней — в его поэзии — такой прочный и органичный сплав, что чудо это могло совершиться лишь на высочайшем этапе накала поэтического вдохновения. А этот накал был присущ ему как врожденное, природное, что ли, свойство. Легенды и быль, прошлое и настоящее переплетены здесь с такой неразрывной и нерасторжимой силой, что рождают в читателе высокое и прекрасное ощущение бессмертия и вековечности человеческих чувств и страстей — вот, по моему глубокому убеждению, то главное качество, которое придает исключительную неповторимость поэтическому слову Георгия Леонидзе, выделяя его в этом отношении даже из среды его блистательных современников.

Этими же чертами отмечены стихи Георгия Леонидзе, воодушевленные гражданским и патриотическим пафосом. Обостренное чувство историзма пронизывает значительную часть его поэм и стихотворений. Не чужд автору «Оле» и глубокий трагизм переживания. Он и в этом случае мощно и щедро живописует «ядом одиночества» отравленное «одинокое дерево». Адреса и иносказания здесь точны и безошибочны, а чувство сострадания, сопровождающее поэтический поток, лишний раз подтверждает бессмертие начал и идеалов благородства и человечности.

Автор «Нины Чавчавадзе» и «Цесарки» — поклонник красоты и возвышенных чувств, к тому же в его стихах любовь равнозначна року, она неотвратима и неизбежна и так же отмечена печатью вечности, опалена ее дыханием. Мысль эта высказана поэтом с обнаженной непосредственностью: «Спустя сто лет со мной — живая — ты, твой светлый образ годы не затмили, о ты, чья буря нежной красоты склоняет голову мою к своей могиле!». Но для круга поэтических видений и для самого поэтического видения Георгия Леонидзе наиболее характерным является шедевр его интимной лирики «Свидание печенег» («Мухранская баллада»).

Сразу же нужно сказать, что отдельные мотивы и ассоциации в этом стихотворении так неожиданно и причудливо сменяют друг друга, что ключом к логическому постижению их могут служить здесь лишь закономерности поэтического синтаксиса. Как известно, великий Гёте считал такую сокровенную тайнопись лишь достоянием и свойством поэзии и относил ее к совершенно особой сфере проявления человеческого интеллекта и его возможностей.

Главный пафос этой баллады заключен в бессмертии извечного и вековечного чувства любви, любовной страсти, в свою очередь питаемых героическим самочувствием, героической почвой. Категории времени и обстоятельств здесь так нарушены и смещены, так затуманены, как туманный взор самого смертельно раненного рыцаря, описанного в балладе. Сама тема кипчака-насилника, подхваченная поэтом в народно-поэтическом «прототипе» баллады, безгранично раздвигает рамки действия и погружает его в глубину веков. Трагическое переживание фиксируется такой поэтической фразой — «Но раз ты печенегом рожден, будешь сам сокрушен и раздавлен», а чувство-навечно соперничества и ревнивого единоборства

подчинено неукротимой и неуправляемой тяге к желанной и возлюбленной девице: «Я бродил, нападая на след, пыль столбом поднимал, рвался к цели, разгромил за притворами Мицхет, где аршинные свечи горели». В этих последних строчках основная тема баллады дополнена новым мотивом, порождающим ассоциации, которые усиливают чувство национальной трагедии. Чуждая, враждебная, порабоощающая сила должна быть сама сокрушена, ибо она грозит всему существу и живому. Этот мотив приобретает значение контрапункта, где сходятся воедино разрозненные, казалось бы, и независимые мотивы. И своеобразное чувство жалости и сожаления, вызванное гибелью рыцаря-святоотца, здесь органически сливается с общими суровыми тонами воспроизведенной картины. И в этом случае поэтическое чутье и такт автора безупречны и оправданы гуманистическим мотивом отпущения и всепрощения.

Уникальна и художественная ткань баллады. Поэтическое вдохновение здесь счастливо сочетается с редким совершенством самой формы выражения и воплощения.

Экспозиция стихотворения относительно спокойна и безмятежна, вернее, согрета именно любовным влечением («Твои губы, наверно, сладки, словно сусло во время брожения»); здесь оживлен творчески воспринятый фольклорный прием, усиливающий эпическую струю в балладе и придающий больший масштаб повествованию. Но вслед за этим сразу же вспыхивает мотив, предвещающий трагическое единоборство и кровавую развязку.

Поэтическая картина оживлена в балладе неожиданными, чисто леонидзевскими образами, налитанными земным ароматом («А внизу, над ущельем — туманы... будто пар от котлов, где варят перед пиршеством мясо коровье...»). На фоне поистине грандиозной поэтической картины здесь ощутимо чувствуется последнее предсмертное дыхание истекающего кровью рыцаря, вся боль его прощания с жизнью и с любовью. В стихи органически влетаются и отголоски руставелевской стихии, его восприятия любовного чувства как бессмертного феномена и дара. Ведь такое восприятие зафиксировано в нашем сознании и преодолело «веков завистливую даль», будучи освещено именем Руставели. Потому и воспринимаются как высший апофеоз воспетых в балладе чувств и переживаний ее финальные строки:

Это тысячелетье подряд
Истекает любовь моя кровью.
И сквозь тысячелетье кричу,
Как была ты двоим дорога нам.
Вот восстал я и меч свой точу —
Пробил час новых встреч над курганом!..

Это ожидание «нового свидания», живое чувство, пронизывающее стихотворение, несут на себе неизгладимый отпечаток современности и уже поэтому являются залогом неувядаемой, нестареющей поэтической силы «Мухранской баллады».

Щедра и полнокровна, жизнеобильна сама образная система Георгия Леонидзе. Им явно была не просто осознанна, а выношена и взлелеяна в душе истина, согласно которой первые детские или юношеские впечатления и видения не пропасть бесследно для поэта, ибо это как раз та пора, когда в тебе живо еще чувство причастности природе, а каждая новая весна пронизывает тебя дрожью предчувствий и новых открытий и озарений. Он знает, какая это благодать, и он даже прямо высказался об этом в одном из своих прекраснейших шедевров:

Твое время есть повесть юности,
Что ж твой стих умолк, словно раненный?
Стих и юность — их разделить нельзя,
Их одним чеканом чеканили.

Здесь речь идет не только о неуываемой молодости или неиссякаемости юношеского пламени. Бремя лет вместе с мудростью рождает в истинном поэте все новые и новые черты. Главное в данном случае — незабвенность, неизбежность прошлого, когда в воображении или восприятии поэта возникают первые образные видения, намечается зыбкий контур его грядущего образного мира, системы и строя образов его поэзии. Эти ранние, первичные видения отличаются родниковой чистотой и незамутненностью, а открытия, озарившие поэта на пути углубленного самопознания, сохраняют первозданный аромат свежей травы и молодых побегов. Эти первичные образы — первообразы — становятся вечными спутниками поэта и уже всегда дают знать о себе в виде разнообразнейших вариаций. Вдохновение поэта в эти миги питается безгрешной памятью, без которой оно обречено и неизбежно иссякнет. Георгий Леонидзе щедро одарен этим поистине божественным даром. Именно по этой причине в стихах поэта весна обдает нас запахом молока, небо — плодоносит и пестрит персиками, месяц, споткнувшись у Гомбори, проливает молоко, и удалцем в обновке-чохе всплывает рассвет с ночного дна. Форели в его стихах наряжены в ситцы, и он сам, переполненный радостью, приветствует утро, которое тащат птицы клювами из дупла...

Такие поэтические видения никогда не покидали поэта, придавая, сообщая его крепким, как сталь, строчкам прелесть и очарование искрящейся первозданности, диктуя ему слова благодарности все той же благословенной норской ночи:

Мельницу ли на канаве,
Мощь ли глыб, иль древний храм —
Все, что ты дала мне въяве,
Я в стихах тебе отдам.

Видения эти, берущие начало все от тех же «дней первых фиалок, собранных им», переместились впоследствии и в великолепную поэтическую прозу Георгия Леонидзе, ослепительным лучом озарив страницы этих его отроческих воспоминаний: «Не пером исписать, а проплести фиалками и лилиями, разукрасить цветами моих родных полей и лесов хотел бы я

листы этой книги. В ней — отблеск улыбки моего неба и моей земли, свежее дыхание моего детства!». Слова эти сказаны на закате его жизни, и они еще раз указывают на тайное тайных его творчества.

Романтическим духом своим воспарившая высоко, но нигде и никогда не утратившая корней, поэзия Георгия Леонидзе явилась новым подтверждением неисчерпаемости духовной энергии грузинского народа...

Георгий Леонидзе был к тому же художником очень широкого диапазона и он, как известно, со свойственной ему самоотдачей работал и в других сферах и жанрах грузинской культуры. Ниже я обращаюсь к материалу своего же очерка о прославленном сборнике прозы Георгия Леонидзе «Волшебное дерево» («Древо желаний») — он был опубликован еще при жизни автора, но, как мне кажется, органически примыкает к вышесказанному.

Когда публиковавшиеся до этого врозь рассказы Георгия Леонидзе вышли отдельным изданием, стало еще более очевидным, что в книге охвачена единая поэтическая картина. Рассказы эти композиционно объединены фигурой рассказчика, в котором персонафицирован сам автор. Молодой мечтательный поэт (таким он выступает с первых же страниц повествования) увлеченно и увлекательно, с огромной любовью рисует своих односельчан, своих знакомцев и близких. Горит он тем же огнем, что и Марита, легкая как ветерок, или Форэ, влюбленный в воды Нишардзеули, все свои молодые годы посвятивший неисполнимой мечте. Все это, поведенное в форме воспоминаний, создает, разумеется, совершенно особый интим, хотя рассказы эти выходят далеко за пределы обычных воспоминаний, раздвигая их узкие рамки.

Уже заглавие книги «Древо желаний» («Волшебное дерево») раскрывает смысл и содержание поведенного в ней. Воспоминания отроческих лет подобно жемчужинам нанизаны на ветви заветного волшебного дерева. Испытанное и пережитое в юности неподвластно забвению, которое приходит с годами. Ясная память поэта придает ему новые силы, вселяет в них новую жизнь. Патардзеули — родина поэта, прекраснейший уголок Внутренней Кахетии. Многим, особенно городским жителям, возможно, и не довелось побывать на берегах Иори или увидеть палаты Ниноцминды, но они давно уже знают их благодаря поэту, они лицезрели их его глазами. Патардзеульское утро впервые через леонидзевские стихи проникло в наше сознание:

...И мир подернут был хрустальным,
Щемящим душу холодком.
И были зябки, были жалки
И были дороги до слез
Патардзеульские фиалки,
Касаясь дедовских колес...
...В дневной усталой перепалке,
В ночной бессонной тишине,
Патардзеульские фиалки,
Светите мне, светите мне!

В колоритнейших рассказах Леонидзе действуют разнообразные и очень интересные герои. Кто же они? Простые обитатели нашей деревни, обыкновенные люди, весьма ограниченные в масштабах и диапазоне своей деятельности и интересов. Об этом у автора выработалась своя точка зрения, художественно воплощенная почти в каждом рассказе книги. Выведенные им герои, такие, на первый взгляд, маленькие и обыкновенные, пленяют нас своей внутренней мощью, силою духа, удивительной чистотою души. Будто в каждом из них дремлет сила, способная в решающий миг превратить их в истинно народных героев.

Автор часто рисует перед нами наивность и простодушие своих односельчан, но с таким доверием, с такой верой и убежденностью, что и читатель невольно проникается огромным сочувствием к ним. С мягким, теплым юмором рассказана в одном случае история брадобрея, решившего в одиночку восстановить поправную справедливость. И кто же он, этот цирюльник Бунбула? Отец двенадцати детей, поработенный бедностью и несправедливостью. Не добившись чьей-либо поддержки и не сумев кого-либо за собою увлечь, он в одиночку решил обратиться до царя и выразить ему свое возмущение и нижайшую мольбу — положить конец войне и кровопролитию!.. И кто бы, конечно, подпустил близко несчастного Бунбулу к царскому порогу! Осмеянный и униженный возвращается бедняга в свое село: «Был человек — голову высоко держал, а обернулось так, что сделался тенью человека. И отчего? Из-за любви к человечеству», — заключает с грустной улыбкой рассказчик.

В книге еще ряд рассказов посвящен примерно той же теме. Например, на наивного и восставшего в защиту всечеловеческих интересов Бунбулу в известном смысле похожи и герои других рассказов — Форэ и Чорехи, благородные порывы и мечты которых заведомо обречены. Им не дано воплотиться и осуществиться. Им обоим явно изменяет жизненное чутье. В этом их роковая беда. Они всей душою порывались совершить нечто во благо людское, а мир встречал их с непониманием. История Форэ здесь предстает перед нами как бы в образе символа. Форэ — ожидаемый и желанный, подобно святому Георгию, избавитель-герой, который должен одарить народ водою. Само же село безропотно и бездеятельно, оно лишь пассивным упрямством отвечает на жестокость природы, обездолившей его. Удачно найденной деталью оживляет автор эту картину:

«Деревенские дети никогда не видели шумливого водопада, кипящей криницы, речной стремнины, напоенного влагой, осыпанного плодами сада, налитой виноградной грозди, высокой золотой нивы... Да, истомлена была жакдой деревня! Какие вихри вздымал резкий, горячий ветер! Земля словно окутывалась пылью; засевали огород, полости грядки — а в июне уже шла трещинами пересохшая земля, в июле поднималась в воздух серой пылью.

— Зачем же сеять? — спрашивал я деревенских женщин.

— А как же иначе? Деревня — тот же очаг, нельзя дать ему — остыть! — Стыдно!»

Вода с юных лет была страстью Форэ — «он мечтал о ней, как одержимый любовью — о своей возлюбленной». Он был призван спасти ставшее пустыней село, превратить в цветущий сад. Бесплодной и невыполнимой оказалась его мечта. Обнищавшая и обездоленная, надломленная нуждой деревня не верила в планы Форэ, да и не могла, не в силах была провести в село, перебросить к нему воды далекой Нишардзеули. Село отвернулось от мечтателя, и он остался одиноким. Рожденный действовать и бороться, он обречен гореть бесцельным пламенем. С большой любовью и сочувствием нарисован в рассказе приговоренный к одиночеству Форэ, живущий теперь одними мечтами и лишь в блаженных снах достигающий их осуществления. Хочу особо подчеркнуть, что одним из сильнейших мест рассказа представляется мне описание сна Форэ — с мистическими видениями героя. Наверное, таким представлялся обитателям безводного края или затерявшимся в пустыне бедуинам земной рай...

В колоритные сельские картины, созданные Георгием Леонидзе, вписывается еще один персонаж — Чорехи, человек почти фанатической веры, страстно и самозабвенно влюбленный в прошлое, в страницы истории. Если Форэ стал жертвой бесплодных мечтаний о будущем, то взгляд Чорехи прикован лишь к прошлому.

Знакомимся мы в рассказах Георгия Леонидзе и с другими интересными персонажами. У всех у них своя особая природа, своя особая жизнь. Автор не скупится и здесь на краски. Деревенским вождем поставивший себя Цицикоре — человек с жестоким и негибасмым характером. Деревенский извозчик Иагор покинул село и навсегда обрубил корни, связывающие его с родной землей. Необычайно колоритна история двух соседей — Чирика и Чикотелы. Сколько юмора, сколько тепла в повести об их беспричинной вражде!

Особо хочу остановиться на рассказе «Чествование доблестных», который выделяется интересным «рисунком». Первая часть рассказа вызывает ассоциации со старыми историческими хрониками. Даже языковой материал варьируется по-разному. Автор скуп, подобно древнему летописцу, дает лишь самые общие штрихи, но хроника постепенно оживает, оживляется, ее арену заполняют реальные персонажи. Шалия Ласуридзе — отпрыск старинной семьи воинов, последняя надежда рода. Рукою мастера выписана фигура матушки Чахтауры, женщины негибасмой души. Она живет, уповая на возмужание Шалии. Вот-вот наступит этот день, день совершеннолетия, когда село благословит ее сына на подвиги, а сам он вскочит на оседланного к этому случаю коня Ветрогона в исполнение торжественного ритуала.

Леонидзе не повествует, а отдельными картинами нанизывает на нить рассказа эпизоды из печальной истории Шалии и его матери. Приведу лишь один отрывок из рассказа, чтобы стало ясным, как добывается автор художественного эффекта:

«...Первая мировая война в разгаре. Тетушка Чахтаура сидит одна-одинёшенька на подгнившем старинном балконе — не дает остыть очагу!.. Сидит и вяжет шерстяные носки для

младшего из своих трех сыновей, Шалии, — последнего, кто бы оставшегося в живых... Будто бы — потому что и Шалия погиб на войне, совсем недавно, но Чахтаура все же собирается послать ему теплые носки. Дважды приносили ей поворачиваемую, но Чахтаура не верит, она глубоко убеждена, что смерть не властна над ее сыном, и говорит почтальону строгим, негодующим тоном:

— Отсохни твой лживый язык! Забери эту бумагу назад! Отдай ее тому, кто тебя прислал! Живой у меня Шалия, не мертвый! Не смей больше такое выдумывать! — И проворные спицы быстро-быстро мелькают в ее умелых пальцах.

А когда почтальон Гугуна поворачивается и уходит восвояси, на дороге его настигают посланные ему вдогонку гневные слова:

— Не смей больше приходить сюда с этой черной бумажкой. А не то спущу собак, чтобы разорвали тебя на части. Со счастливой вестью приходи, вестником радости!».

Вот в такой напряженной, но в основе своей бытовой, разговорной интонации нарисована психологически очень сильная и убедительная картина. Сердце матери фанатически не примет жестокой действительности, оно не в силах отказаться от последнего проблеска надежды. С такой же психологической достоверностью решен и еще один рассказ Георгия Леонидзе о несчастной любви прекрасной Мариты и юноши Нателидзе. Марита — жемчужина села, чистая как родник. Образ ее обрисован романтическими красками, поэтически возвышенно, в легких, воздушных тонах. Внутренняя трепетность и какой-то тайный страх, неосознанное опасение сопровождают подтекстом все развитие образа Мариты. Суждено ли расцвести такому цветку в условиях, где мало-мальски поэтические натуры становятся жертвой грубой и жестокой действительности? Эта тема очень близка Георгию Леонидзе. Она развита и в других его рассказах. Такова и судьба Мариты. Деревня, опутанная сплетнями и пересудами, не простила Марите ее стремления к чистой любви. Психологически убедительно нарисована сцена душевного перелома в народе, когда все село провожает в последний путь Мариту. Вот где она окончательно побеждает... «...И вот настали последние минуты прощания над разверстой могилой; пришло время каждому бросить горсть земли на крышку гроба. И вдруг столпившиеся вокруг могилы люди, вспомнив, что они-то и были палачами Мариты, все вместе, разом, в испуге рванулись назад, словно пред взором их предстало что-то ужасное — ужаснее, чем гроб с покойником, — рванулись и отступили, толкаясь, сбивая с ног и чуть ли не топча друг друга. Ни один не осмелился засыпать землей неземную эту красоту... Ни один!..»

Хочу вновь вернуться к рассказу «Чествование доблестных». Автор завершает этот рассказ описанием народного праздника. Георгий Леонидзе прекрасный знаток жизни и быта грузинской деревни, нашей этнографии и фольклора. Эти знания всегда обогащают его рассказы и создают основу для широких обобщений. На фоне картин, которые и сами по себе интересны, действуют персонажи, созданные кистью художника. В ряде рассказов, быть может, чувствуется явная увле-

ченность автора этнографическим описанием, но я убежден, что в большинстве случаев это не вредит художественной ткани, наоборот, придает рассказу еще большую жизненную достоверность. И в данном случае нарисована как бы чисто этнографическая картина: все село собралось на кладбище. Крестьяне поздравляют друг друга с днем «чествования доблестных». Плакаивают усопших односельчан — тех, кто когда-либо оставил по себе добрую и славную память. Если в начале повествование велось скупым, лаконичным языком летописца, то здесь автор обращается к щедрой и красочной народной речи. Всенародное оплакивание здесь поднято на высоту поэзии:

«Мох и переливчатая трава покрывают могилы героев. А вокруг развернула крылья, шелестит под ветерком весна.

— Славе твоей радуясь, хваленому имени твоему, сынок! — причитала над могилой старуха Джафараули, вся в черном, и соседки вторили ей протяжным жужжаньем:

— Не в дому дух испустил, а в дыму сраженья, с шапкой в руке!

Окружил народ могилу Хвтисо, опустил на колени, помянул его честью.

— Конец твой безвременный стал твоей победой! Имя свое прославил, спасибо тебе за это! — взывал дедушка Эдишер над могилой чабана Гагни. — Пусть вечный свет воссияет над тобой!»

Вот такой картиной и подготовлен выход скорбящей по сыну Чахтауры. И ее голос сливается с общим потоком всенародного оплакивания. Утешением доносится к ней весть о том, что и сын ее Шалия объявлен народным героем. Даже стихи сложены в его честь: «Гибель Шалии-героя бога в небе подкосила, звезды меркли и бледнели, и луна лицо закрыла». В такой час безмерно, но спокойно-торжественно море народного горя, и исчезает граница между моим и твоим, личным и общим. Умиротворенная, просветленная возвращается назад Чахтаура. И для других хватает у нее тепла, и она со спокойной, печальной улыбкой напутствует сбившихся по дороге в кучу мальчишек:

— Вот какой у меня был сын! Имя свое прославил — вишь, село его честью помянуло! Вырастите и вы орлами, птенцы желторотые!

А вокруг буйствовала весна, неумная, как Шалия...»

Рассказ этот примечателен и с точки зрения собственно писательского мастерства, и по самому отношению автора к материалу, подчеркнута им нескрываемому. Острый поэтический «слух» подыскивает себе и точно подбирает нужную художественную ткань. Я и выше отмечал, что в этом рассказе соседствуют два пласта, два потока. Первый из них более фрагментарен и в нем передана повесть о вымирании древнего рода Ласуридзе. Этот пласт разработан в лапидарном стиле старых хроник. В вышеуказанном финале рассказа как бы замыкаются и сводятся воедино бывшие фрагменты — их композиционным завершением и является сцена всенародного оплакивания усопших, с натуралистической почти точностью переданный ритуал, с которым сливается и голос матери Шалии, скорбящей Чахтауры. Речь автора здесь течет подобно полно-

водной реке, народные выражения и идиомы смещают друг друга, щедрая красочность письма создает у нас ощущение наслаждения колоритом.

К такому же художественному приему прибегает в рассказе «Гвинджуа». Элементы народного сказа, богатый колорит, крижистый и динамичный язык — все здесь напоминает щедрую и пьянящую кахетинскую осень. В центре рассказа — прославленный тамада Гвинджуа, с добросовестностью и прилежанием пахаря выполняющий долг главы деревенских пиршеств, сельского застолья. Рассказ построен на простом происшествии. Ритуал ведения застолья тамадой был так же свят для Гвинджуа, как, скажем, обряд святого причастия. Ни разу он не покинул «поля битвы» и не завершил застолья, не провозгласив последней обязательной здравицы, призывающей покровительство «всех святых»:

«— Тот, кто в грузинском гнезде оперился, не должен вставать из-за стола без прощальной, «всесвятской» чаши. Такой у нас порядок, этим мы землю нашу почитаем! Кто дал нам право нарушать завет отцов и дедов? Не только сыновьям и внукам — самым дальним потомкам должны мы передать этот обычай!»

И вот однажды он едва не изменил долгу тамады. Какой-то злоязычный засталец задел его бессовестной репликой, и уязвленный Гвинджуа встал из-за стола, не успев осушить «всесвятской» чаши. Эта простая, основанная на крестьянской наивной непосредственности коллизия развита автором с таким сочетанием убежденности и доброго юмора, с такими искусно подобранными деталями, что читатель от всей души включается, втягивается в «горестные переживания» Гвинджуа. И нет ничего удивительного для нас и в том, что Гвинджуа, попав под ураганный ветер, возвращается вновь к столу и свято выполняет свой долг тамады — выпивает «всесвятскую чашу» в семье крестного и во благо ее.

Дар пластического видения и словотворчества, неиссякаемая живописная щедрость — органические, неотъемлемые, как мы уже говорили, свойства Георгия Леонидзе. В этом отношении и рассказы его стоят на соответствующем уровне. Мне трудно удержаться от цитирования, настолько красноречив тут сам по себе один эпизод из этого же рассказа. Традиционное грузинское застолье в разгаре в крестьянских палатах крестного Тахи. Честные, добросердечные, здоровые душою и телом, закаленные в труде крестьяне сидят на пиру, и здесь с самого начала царят задушевность и взаимная доброжелательность. Броская, как говорится, «угловатая», «шероховатая» авторская речь захватывает читателя. Пластические картины согреты народным юмором. Застолье объединяет односельчан разной натуры, характера, нрава, даже с разными «прозвищами», подчеркивающими их «особость». Автору хватает на каждого буквально по штриху. Нельзя удержаться от искреннего смеха, когда автор рисует прожорливого Тлошиаури, которому всюду мерещатся свиные ляжки! Или вот «косой каменщик Хичала в кожаном переднике, вечно навеселе. Бывало, выведет стену доверху и вдруг закричит с нее: «Сторонись!». И в самом деле, злополучная стена с грохотом рушится

людям на голову или заваливается вбок... Село, однако, ува-
жало Хичалу, и на том, дескать, спасибо, от иных и того не
дождемся!».

В рассказах с особым блеском выявились особенности по-
этического языка Георгия Леонидзе. Подобно мифическому
Фархаду, мужественно единоборствует поэт с грандиозною го-
рою слова, чтобы обнажить его нетронутые пласты, дать нам
почувствовать первозданную красу родной речи. Я бы не смог
назвать в новейшей грузинской прозе другого произведения, в
котором созрел бы такой обильный образно-речевой урожай.
Можно привести бесчисленные примеры того, с какой бога-
тырской щедростью рассыпает перед нами поэт жемчужины
слова. И когда нам начинает даже казаться, что этот щедрый
буйный поток бесконтролен, каким-то незаметным мгновенным
способом вы убеждаетесь, что каждое слово здесь к месту,
каждое попало в единственную цель, и вот все они располо-
жились, «расселись» по своим местам и уже дышат своим но-
вым дыханьем, живут своей новой жизнью. Даже такой срав-
нительно избитый в современной прозе прием, как характери-
стика героя набором эпитетов, используется поэтом с такой
дерзкой безоглядностью, что здесь явно спасает дело изыскан-
нейшее мастерство художника. В нем и состоит секрет его уве-
ренности в своих силах. У меня нет здесь возможности даже
просто перечислить эпитеты, произнесенные, провозглашенные,
скажем, в честь Мариты, но особо отмечу, что во всей этой
россыпи жемчужин каждая сияет своим неповторимым блес-
ком, и особая прелесть каждой из них не поглощена общим
ослепительным сиянием россыпи.

В рассказах Георгия Леонидзе центр тяжести сосредото-
чен на поэтическом слове. Сюжетные коллизии как бы отсту-
пают на задний план, в некоторых рассказах автор даже не
старается до конца развить намеченный сюжет. Но с поэтиче-
ским словом здесь сливается еще один творческий феномен,
порожденный художником. Это его глаз — безошибочный глаз
художника, цепкое чувство характера, натуры, природы пер-
сонажа. Георгий Леонидзе ввел в орбиту читательского зрения
целый мир разнообразнейших образов-характеров. А своеоб-
разная монументальная цельность этих образов, поиски худож-
ником и внутренних духовных национальных начал придают его
рассказам огромную впечатляющую силу, наделяют их огром-
ной силой воздействия.

...Не подлежит сомнению, что и рассказы Георгия Леони-
дзе представляют собой уникальное явление в современной гру-
зинской литературе, и они в новом свете являют нам неисся-
каемый дар их создателя.

Перевод Георгия МАРГВЕЛАШВИЛИ

С В Е Т Д У Ш И

Новый роман Нодара Думбадзе «Закон вечности», подобно предыдущим его романам и рассказам, сразу стал достоянием многонациональной советской литературы, приобрел известность в нашей стране и за ее пределами, завоевал любовь читателей различных национальностей, возрастов, общественных слоев.

Сегодня книги Нодара Думбадзе издаются во всех социалистических странах, его читают в Соединенных Штатах Америки, в Японии. Помимо читателей у него много зрителей — все романы Нодара Думбадзе, даже рассказы, немедленно переносятся на сцену, на экран. В каждом уголке Советского Союза смотрят пьесы и кинофильмы, созданные по его произведениям, так что свет души грузинского писателя согревает всех и повсюду. Его творчество глубоко национально и не только потому, что глубоко национальны изображенные им среда и характеры, жизненные нормы и обычаи, все главные и неглавные художественные компоненты произведений. Национальный характер произведений Н. Думбадзе определяют, в основном, корни, связывающие его с национальной культурой, и та высокая миссия, что выпала на долю его творчества. В деле передачи литературе будущего воспринятых от предшествующих поколений писателей национального духа и убеждений.

Неудивительно, что ярко и прекрасно выраженный национальный характер произведений писателя обеспечил ему большой успех у грузинского читателя. Интерес иноязычного читателя к произведениям Н. Думбадзе некоторые могут объяснить привлекательностью отраженного в них незнакомого быта и характеров. Наверное, это так: но главное все же в том, что в этом художественном мире, населенном неизвестными героями, действующими в неизвестной обстановке, читатель любой национальности приобщается к известным, близким ему чувствам и мыслям, поскольку мир этот светел и глубоко человечен.

Именно в силу этого обобщения, возвышения от национального до общечеловеческого, в эмоциональном, лирическом проявлении глубокого оптимизма и гуманистического духа — исток и залог победы писателя.

Эта прекрасная черта с самого начала была характерна для прозы Н. Думбадзе. Когда двадцать лет назад на страницах журнала «Цискари» появился роман «Я, бабушка, Илико

и Илларион», трудно было поверить, что в таком лирическом и бытовом произведении могла проявиться неодолимая сила гуманизма, что выразителем его могли быть такие простые герои, как эта странная и прекрасная четверка.

Роман не только знаменовал рождение нового художественного мира, но и положил начало новым тенденциям, новому этапу в грузинской советской литературе.

За этим романом последовали романы «Я вижу солнце», «Солнечная ночь», «Не бойся, мама!», «Белые флаги» — затем был напечатан цикл рассказов, и наконец новый роман «Закон вечности». Так был создан тот неповторимый, привлекательный, весьма непростой и глубоко эмоциональный мир, который зовется творчеством Нодара Думбадзе.

Всем известно, что общественная жизнь 50—60-х годов претерпела большие сдвиги. Они положили начало коренному обновлению всех ее сфер, в том числе искусства и литературы. Особенно ярко это отразилось на всей советской литературе. Грузинская литература последнего двадцатилетия весьма интересна своей проблематикой и художественными поисками. У нас есть немало подтверждений этому и одно из самых сильных, явных и прекрасных подтверждений — творчество Нодара Думбадзе.

Его романы и рассказы наполнены светом и не потому, что писатель рисует нам идиллический мир, просто это свет его души, отражение его веры и надежды, поскольку ни для кого не секрет, что Нодара Думбадзе интересуют преимущественно обстоятельства жизни, насыщенные драматизмом. Этот интерес продиктован желанием отобразить основную тенденцию глубокого и правдивого развития жизни, а также убеждением в том, что в подобных обстоятельствах ярче выявляются гражданственность и духовная твердость людей высокой нравственности.

Мир наш задуман не для улады и неги, а для насаждения добра, которое не дается без труда и борьбы. Только неустанное следование этому пути, преодоление на нем препятствий красит человека, возвышает его. Этим очистительным путем идут и герои Нодара Думбадзе, и юмор, которым так полон и привлекателен их мир, служит отнюдь не для бесцельного увеселения, а для облегчения переживаний и создания пресникнутого надеждой настроения.

Молодой герой романов Нодара Думбадзе прошел через много испытаний: он принял на свои хрупкие плечи тяжесть жизни военного села, оставшегося без мужчин («Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце»), после кратковременного торжества зла познал и горечь сиротства («Солнечная ночь»), в юности ему пришлось пройти через духовные трудности («Не бойся, мама!»), не избежал он и участи без вины виноватого («Белые флаги»), затем, прикованный к постели, боролся со смертью («Закон вечности»).

Трудно сказать, какой из романов более драматичный, и хотя герои отличаются друг от друга своими судьбами и характерами, они одинаково одержимы стремлением, сознательным или подсознательным, к добру, одинаково привлекатель-

ны своими большими сердцами и искренней любовью к человеку, полны веры и надежды, нескрываемой жажды жизни.

Сильная струя лиризма в романах Нодара Думбадзе делает еще более наглядной настроенность писателя. Создает впечатление, что он с умыслом не так уж незаметно берет на себя и функцию лирического героя произведения. Невнятный, чистый, теплый юмор писателя придает удивительный оттенок этому лиризму.

Юмор Нодара Думбадзе имеет и иное назначение: он не только вызывает сочувствие улыбкой сквозь слезы, но и выражает глубокую уверенность в торжестве добра. В мире, изображенном писателем, трагизм почти лишен социальной основы, и героев закаляют драматические ситуации, порожденные, в основном, нравственным уродством.

Казалось бы, писателю уже ничем не удивить нас, но его последний роман «Закон вечности» произвел удивительное впечатление. С одной стороны, он органически связан с общим духом и установкой творчества писателя, в нем четко видны общие определяющие признаки стиля автора, но с другой стороны, в некотором роде и отличается от предыдущих романов своей художественной тканью и, что главное, концептуальностью. Возможно, это произошло потому, что герой произведения уже прошел основательную школу жизни, юность его осталась далеко позади.

И тем не менее общим своим духом и художественной системой этот новый роман — «Закон вечности» — одно из органических звеньев творчества Нодара Думбадзе.

Все творчество писателя — величественный гимн человеку и солнцу. Его герои добры, благородны, жизнерадостны, полны любви и сочувствия, горды и скромны, сильные и отзывчивы, и днем и ночью сверкающее солнце выступает покровителем и надеждой этих прекрасных людей, как символ света и тепла брэнного мира.

Таковы герои произведений Нодара Думбадзе, и Бачана Рамишвили («Закон вечности») не составляет исключения.

«Да... вам искусственное сердце не поможет, с искусственным сердцем вы не сможете жить...» — скажет профессор Бачане Рамишвили — писателю. В этих словах заключено самое простое и самое большое признание, которое может заслужить писатель, да и вообще человек любой профессии. Жизнь таких людей, отмеченная добром, пусть даже короткая, намного красивее и полезнее самой долгой жизни, вернее физического существования иных лиц, таких, скажем, как заместитель редактора из того же романа.

Слова профессора — художественно-метафорическое выражение мысли писателя. Искусственное сердце в данном случае синоним холодного сердца. Да, все и вся несет на себе печать доброй человеческой любви, вдохновлено ее пламенем, озарено ее светом. Холодное искусственное сердце не способно на любовь. Это хорошо понимают герои Нодара Думбадзе.

Правда и то, что каким бы высокохудожественным ни было произведение, проповедь им гуманизма будет бесплодной.

если слова писателя идут не из сердца, исполненного любви к своему ближнему, если его радость не является радостью его души, если его боль не испытана его истрепанными нервами,

Большое достоинство творчества Нодара Думбадзе — в том, что его питает и эта простая мудрость. Жар пламенного сердца писателя чувствуется в каждом характере, в каждой фразе, поэтому мы его так остро ощущаем.

Верность добру подразумевает непримиримость ко злу. Да, быть терпимым ко злу, спокойно взирать на то, как его совершают, может лишь человек с искусственным сердцем, а для сердца, исполненного любви, это непереносимо, убийственно. В романе много эпизодов, убеждающих нас в этом. Вот один из них: выясняется, что один из согрудников редакции взял взятку, отношение сотрудников к этому факту весьма различное. Более всех отличился заместитель редактора, личность весьма сомнительная. Он глубоко безразличен к случившемуся, и, желая избежать ответственности, а заодно, может быть, выдвинуться, винит во всем редактора.

А Бачана Рамишвили не может примириться ни с этим спровоцированным преступлением, ни с бесстыдным коварством своего заместителя. «...Боль возникла справа в груди, затем вдруг переместилась влево, в область сердца, и там и застряла. Потом словно кто-то вскрыл ему грудь, схватил сердце грубой мозолистой рукой и выжал, как гроздь винограда. Выжимал не спеша, с большим старанием: раз и два, два и три, три и четыре... Под конец он с такой силой сжал сердце, что выцедил из него всю кровь без остатка, и такое вот измученное и истерзанное швырнул куда-то в угол — сердце оставилось, но не сразу, подобно воробью, налетевшему на оконное стекло, оно сперва рухнуло наземь, затрепыхалось, попыталось воспротивиться судьбе и потом уже затихло...»

Лежа в больнице довольно продолжительное время, общаясь с отцом Иорамом, Буликом и другими, Бачана Рамишвили анализирует опыт своей жизни и открывает закон вечности, который формулирует следующим образом: «Суть этого закона в том, уважаемый профессор, что... душа человека намного тяжелее, чем его тело, она настолько тяжела, что одному человеку нести ее не под силу. Поэтому пока мы живы, мы должны поддерживать друг друга и стараться как-нибудь обессмертить души друг друга: вы — мою, я — другую, тот — третью и так без конца, чтобы после смерти того, третьего, мы не осиротели бы и не остались одинокими на этом свете...»

Бачана Рамишвили сейчас только осознал этот закон, но и он, и остальные герои Нодара Думбадзе всегда были верными последователями этой прекраснейшей заповеди.

Любовь к ближнему, поддержка, разделение чужой радости и боли — все это естественно для героев писателя и в частности для Бачаны, это норма их поведения, потребность души. Закон вечности отнюдь не означает проповеди всепрощения. Бачана был еще пареньком, когда, мстя за Глахуну Керкадзе, убил человека, если можно назвать человеком бандита, разорителя села, предателя родины. У Бачаны было два бога,

один — Глахуна Керкадзе, которого убил бандит Манучар Кикнадзе и за которого он отомстил, отомстил один, хотя все село жаждало крови убийцы, и второй бог — дедушка, он и пришел, убив человека:

« — Да, убил бы! — сказал Ломкаца и снова прижал внука к груди. Бачана вдруг почувствовал сильную слабость, выскользнул из объятий деда и сел на пол.

— Господи боже, почему же орудием мести избрал ты этого ребенка, — воскликнул Ломкаца».

Герой произведений Нодара Думбадзе, который, можно сказать, переходит из романа в роман, растет и формируется на наших глазах. Если в юности в «Солнечной ночи» сердце его полно терпимости настолько, что он прощает преступление предателю Абибо, то в «Законе вечности», набравшись ума и опыта, он мыслит уже по-иному. Он убедился, что зло следует выкорчевывать с корнем, а не прощать. В этом смысле характер и сознание героя наполняются боевым гуманизмом.

Непримиримость Бачаны ко злу проявлялась не раз и в других эпизодах. В то же время писатель мастерски, без высокопарных слов обращает наше внимание на порочные черты человека и каждодневное их проявление, поднимая острые проблемы современности и выявляя духовные достоинства своего героя.

А зло, большое ли, малое, вечно сопутствует человеку. Так было, так будет, поскольку и зло и добро — одинаково свойственны человеку. Тысяча замаскированных и незамаскированных зол подстерегают человека на его жизненном пути, и сила его закаляется именно в борьбе с ними.

Перед глазами Бачаны потоянно возникает картина: морозный рассвет, двое на пустом перроне провинциальной железнодорожной станции: «Одна из них — женщина с распущенными волосами, без пальто с обезумевшим лицом, второй — босоногий мальчик с выражением изумления на лице в длинной до щиколоток белой рубахе». Маленький мальчик — Бачана, женщина — его тетя, двое беспризорных святых, преследуемые сатаной. Так начался жизненный путь Бачаны, и это видение то и дело являлось ему сейчас, когда он боролся со смертью. Бачана очень скоро понял и почувствовал на себе, что мир, однако, не без добрых людей. Взять хотя бы врача и аптекаря и многих других, повстречавшихся на его жизненном пути, но самое большое влияние оказал на него Глахуна Керкадзе. Этот простой человек, пастух, дал ему почувствовать силу и красоту добра. Он же преподал ему урок, как мужественно противостоять злу, как без колебания жертвовать собой во имя добра.

Отец Иорам и Бачана, лежа в больнице, вступают в спор.

Каждый из них ревностно отстаивает свои убеждения, а убеждения каждого основаны на добре и целью своей имеют сеять доброе. Поэтому они находят много общего в своих взглядах, однако позиции их диаметрально противоположны. Отец Иорам только проповедует добро, его исполнение полностью доверено богу, Бачана же сам борется за добро и глубо-

ко убежден, что именно в этом заключается первейшая обязанность человека, и уповать на другого, даже на всеобщего, в этом деле не приходится.

Свет души Бачаны наиболее привлекателен в моменты его стремления к тому, что связано со всеобъемлющей любовью. Можно сказать, весь роман — выражение именно этой любви, но несколько сюжетных линий и эпизодов особенно подчеркивают ее. Эпизоды с Тамар и сумасшедшей Марго насыщены драматизмом, даже трагизмом. Однако прежде чем мы испытаем это стесняющее душу чувство, мы покорены легким юмором, столь характерным для манеры повествования писателя, и, когда мягкая улыбка у читателя сменяется безудержным смехом, именно тогда Нодар Думбадзе так поворачивает свой рассказ, создает столь напряженную ситуацию, обнажает такую человеческую боль, что и без того напряженное повествование благодаря этой контрастности и эффекту неожиданности мы воспринимаем еще более напряженно.

Нодар Думбадзе редко изменяет этому своему методу построения эпизода, который обычно начинается с юмора и кончается слезами. Однако делая сюжетная линия в романе, если не большинством своих эпизодов, то некоторыми весьма значительными из них, построена без помощи этого средства — линия взаимоотношений Бачаны и Марии. Как будто все необычно в этой истории — и первая их встреча, и внезапное вторичное появление Марии, и их венчание в заброшенной церкви Шавнабада, молчаливая клятва в любви на заснеженных холмах Самадло, и молитва Марии, и ее исповедь. Станные у них взаимоотношения, но вместе с тем глубоко человеческие, благородные, чистые.

В этом романе Нодар Думбадзе вновь обращается к своему вечно молодому божеству, символу света, тепла и чистоты — солнцу. Понятно, что обращается тогда, когда речь идет о Марии «...Потом солнце спустилось на землю, пешком прошло по большому заснеженному полю Самадло, укрыло двух потомков Адама большими теплыми покрывалами, легло у них в изголовье и осталось с ними...»

«Закон вечности» Нодара Думбадзе ставит перед читателем множество проблем, которые автор решает по-своему. Интересна также художественная структура романа, на первый взгляд, казалось бы, аморфная, но в действительности стройная, подчиненная основной мысли произведения.

Фольклорные, мифические, библейские образы или сюжеты так органически вплетены в художественную ткань романа, что читаются и расшифровываются без особого труда. Думбадзевский реализм объемлет, органически сочетает в себе мифические образы, романтическое настроение, фантастические видения, натуралистические эпизоды, более убедительно, таким образом, более эмоционально и образно раскрывая глубокий и интересный замысел писателя. «Солнце — мать моя...» — этот бессмертный образ и стих на протяжении веков сопутствует грузинам. И то солнце, что спустилось на землю и легло в изголовье Бачаны и Марии, и вообще символика солнца, которой так богато все творчество Нодара Дум-

бадзе, берет начало из фольклорного источника. Мать и солнце — синонимические понятия для Нодара Думбадзе и оба вместе и каждое в отдельности является символом добра, вечной жизни, бессмертия.

По аналогии с мифом построена и исповедь Марии. С помощью этой аналогии писатель дает нам прочувствовать биографию пострадавшей женщины — ее трагедию и надежду, падение и возвышение.

«...А теперь послушай меня, — сказала Мария и продолжала так, словно говорила сама с собой, — я пять раз умирала и пять раз воскресала... Впервые я умерла в страхе и восстала из мертвых в одиночестве. Во второй раз меня убила лицемерность, и я ожила в лицемерии. . В третий раз я умерла в лицемерии и воскресла в беспечности... В четвертый раз меня убила беспечность, и я восстала из мертвых в ненависти... В пятый раз я умерла в ненависти, и любовь воскресила меня... Сейчас я живу в безмерной, безграничной любви и знаю, что в любви и умру... И это будет моя последняя смерть, я уж не восстану из мертвых. Я останусь с вечной любовью».

И наряду с этим мы встречаемся в романе с бродячим актером Бабаянцом, верийскими ребятами, сумасшедшей Марго. Эпизоды с их участием, казалось бы, должны наложить отпечаток натурализма на произведение в целом, однако секрет мастерства Нодара Думбадзе, его таланта именно в том, что читатель не воспринимает как нереальную мифологическую струю повествования, а непосредственные зарисовки из жизни не кажутся ему натуралистическими. Но все это представляет собой не эклектическое соединение, а органическое единство, пронизанное большой художественной правдой.

Каждое произведение писателя, какими бы тяжелыми переживаниями ни было оно проникнуто, всегда имеет оптимистический финал, поскольку человек, солнце, жизнь, добро, по глубокому убеждению автора, — это чудо вечного и прекрасного горючка.

В оптимистическом восприятии жизни — сила и красота творчества Нодара Думбадзе. Бисение сердца писателя, исполненного любви, отчетливо слышно во всех его произведениях, нагоняет их удивительным заразительным трепетом и призывает читателей к преодолению боли, сочувствию, взаимопониманию. Жизнь в понимании писателя прекрасна своими и хорошими и плохими сторонами, достойна того, чтобы ею восторгались. И Н. Думбадзе приобщает к этому счастливому чувству и нас, своих читателей.

Творчество Нодара Думбадзе, в частности одно из лучших его произведений — «Закон вечности» — глубокое и прекрасное выражение тенденций современной жизни. Оно как бы излучает свет души писателя, является одним из лучших произведений не только грузинской, но и всей многонациональной советской литературы.

СЛОВО, ДЕЛО И ВРЕМЯ

Человек выражает себя в слове — хозяин своего слова или бросает слово на ветер; в деле — человек дела или бездельник; во времени — человек знает свое время или не знает его...

Жизни человека и тому, как она воплотилась в трех этих ипостасях, посвящен роман Нодара Думбадзе «Закон вечности». Герой романа Бачана Рамишвили отстаивает свои взгляды, свои убеждения, себя. Полемизируя с главным своим оппонентом, он утверждает: «Мы ценим и время, и дело, и слово».

Сюжет романа строится на узловых, главных событиях жизни героя. И дело не только в том, что человек с тяжелым инфарктом (жизнь на переломе) оказывается в больнице, где много времени для дум и размышлений. Человек судит свою жизнь, потому что здесь, в больнице, с неумолимой безотлагательностью встают вопросы жизни и смерти, здесь острее обычного видится жизнь: у одних кривая жизни легкая и угодливая. у других — отмеченная неизменным мужеством прямая жизни с превратностями судьбы и невозполнимыми потерями... «Сегодня необычный день: Хосе Диас и Долорес Ибаррури раздадут тбилиским пионерам шапки с кисточками — подарки детей республиканской Испании... Долорес Ибаррури, высокая смуглая красивая женщина, вручает Бачане шапочку от имени баскского мальчика.

— Будь готов! — говорит Ибаррури.

— Всегда готов! — отвечает, салютуя, Бачана».

И вдруг — одна беда за другой. Мальчик просыпается среди ночи от стука захлопнувшейся двери. Испуганный, он идет к маме, к маминой постели, но мамы нет, ее увели — только постель еще хранит мамино тепло... Годы сиротства, война, туберкулез и добрые люди, заменившие мальчику родителей, и сам мальчик, сохранивший верность пионерской клятве, пронесший через всю жизнь то последнее, горькое и сладостное ощущение материнского тепла...

В войну чахоточного мальчика выходил Глахуна Керкадзе. И когда Глахуна погиб от руки дезертира и изверга, мальчик отомстил за своего спасителя — он убил бандита.

Убийца, увидев мальчика с маузером, хотел было возвать к его совести: «Не дури, парень!.. В твои годы нельзя убивать людей... Не стреляй!.. Как же ты будешь жить на свете, ходя по земле с клеймом убийцы?»

Так же вот и буду жить, — мог бы ответить мальчик, — буду драться за жизнь, буду ходить по этой земле, утверждая на ней любовь и правду...


Бачана еще не раз столкнется лицом к лицу со злом.

«Закон вечности» — роман насквозь полемический. В основе сюжета — полемика, столкновение взглядов, даже не взглядов, а мировоззрений. Причем мировоззренческие разногласия обнаруживаются не только там, где коммунист Рамишвили спорит по основным жизненным вопросам с настоятелем ортачальской церкви Святой Троицы Иорамом Канделаки (их света больничная палата). Мировоззренческие антиподы Бачаны (шире — советских людей) — это дезертировавший подонок Манучар Киквадзе, это растленные дельцы Нугзар Дарахвелидзе и Сандро Маглаперидзе... Это незнакомец, который говорит от имени таинственных похитителей бесценной реликвии. «Бачана содрогнулся. У незнакомца не было лица!»

Памфлетно, хлестко пишет Думбадзе о людях идейно и нравственно разрушенных и поэтому особенно опасных. Так, в частности, написан образ бездарного сочинителя, которого большинство людей «уже теперь принимает за человека». И нельзя сказать, чтобы победа над подобными людьми легко давалась Бачане Рамишвили, ставшему известным писателем. Думбадзе не отступил от жизненной правды, показал силу зла, его живучесть. И тем убедительней рассказ о жизни и делах грузинского писателя-коммуниста, человека бескомпромиссного, но умеющего понять даже преступника. Вахо Амбокадзе, вор, которого приняли за «благородного самаритянина», потому что Вахо еще духовно не погиб, в нем еще живет человек. И Думбадзе верит в него. Верит и читатель. Погибает безвозвратно тот, кто погибает духовно. Для всех же остальных пути перерождения открыты...

Роман Нодара Думбадзе автобиографичен. И не потому, что главный герой романа — писатель. Автобиографична природа его творчества вообще. В данном конкретном случае автобиографичность романа подчеркивается, чтобы в общем потоке времени (30-е—70-е годы) резче обозначить периоды наиболее острые, переломные. И с этой точки зрения предмет особого внимания автора — годы семидесятые, годы для Грузии воистину богатые событиями, определившими жизнь страны на сегодняшний день и на будущее.

Роман Нодара Думбадзе актуален. Вечные темы или такие нравственные проблемы, как человек и его душа, человек и его совесть, взяты в их соотнесенности со злобой дня. Студент Бачана Рамишвили получает первую за всю свою жизнь пятерку в тот день, когда называет сестрою несчастную, помещанную женщину. Оценка, что и говорить, символическая. И споры Бачаны со священником — целиком в русле нравствен-



ных и философских исканий современного человека. Отец Иорам признается в своем поражении, но это не простое поражение. В коммунисте Рамишвили он узрел человека высочайших принципов и правил. Поэтому к своему признанию («не сумел я погрять в нем бога иного») он присовокупил и благословение: «Боже всеисильный, будь покровителем и хранителем ему... ибо чем дольше он будет жить на этом свете, тем больше посетит добра и милосердия в созданном тобою мире».

Бачана Рамишвили — человек, отмеченный судьбой. К нему приходит одержимый странной идеей Галактион Мтварадзе и сообщает, что он, Бачана — гуманоид, что ему надлежит знать о своей исключительно важной миссии на земле. Наконец, он предстал перед самим господом богом со стихами Важа Пшавела на устах: «Зачем я в жизнь явился человеком? Зачем дождем я не разлился весь?». Этот эпизод функционально перекликается с великолепным началом романа. Больной теряет сознание, и ему чудится, что он плывет в лодке и что лодочник ржавыми гвоздями прибил его руки и ноги к сиденьям. «Выдернут там, на другом берегу! — донесся издали голос лодочника. Больной слышал и другие глухие голоса с берега, но он не мог понять, что это было — слова прощания, утешения, предостерегающие крики или вопли оплакивающих его людей...»

И все это, разумеется, не мистика. Думбадзе использует прием. Роман написан в традициях фольклорной условности, сказочности и фантастики, в традициях грузинской психологической прозы и неистощимого грузинского народного юмора... Не прошел Думбадзе и мимо достижений современного романа — опыта Михаила Булгакова и Габриэля Гарсиа Маркеса прежде всего.

Роман сложен стилистически, богат интонационно. Добродушный юмор, ирония отрицания и злободневный сарказм памфлетиста. Подчеркнутая условность, подчеркнутая символичность или притчевость ряда эпизодов органична в общей ткани романа. Стоит герою сказать «Зачем дождем я не разлился весь», как вдруг... «Бачана разлился дождем, и поднялись сквозь выжженную землю пустыни цветы — красивые, веселые, благоухающие...»

«Закон вечности» — еще одно свидетельство того, что проблема героя, нашего современника, решается не в теоретических спорах о положительном герое, но в книгах современных романистов.

Герой «Закона вечности» Бачана дан в окружении своих идейных антиподов и людей, внутренне ему близких, связанных с ним мотивами двойничества. Думбадзе пишет своих героев неоднозначно — этого вот черными красками, а этого — белыми. Даже отец Иорам «заимствует», «повторяет» какие-то черты коммуниста Рамишвили. Не случайно и того и другого сразил инфаркт в ситуациях сходных. В обоих случаях болезнь есть результат потрясения нравственного. Есть в романе символический эпизод: «Двадцать веков до рождества Христова и еще двадцать после его пришествия Бачана и отец Иорам но-

силы по свету погасшее солнце... И когда наконец Бачана и отец Иорам достигли цели и уложили солнце в изготовленной из белоснежных облаков усыпальнице, на темном небе suddenly возникло два черных диска — один огромный, другой крохотный, чуть различимый в тени первого... В первом диске Бачана узнал скончавшееся солнце, в другом — растаявшего на его груди от любви Булику».

...Булика, сапожник, «умеющий» по обуви человека определять, что он за «птица», он ведь тоже в чем-то очень близок Бачане. Булика жил любя, жил честно и потому, когда он умирал, Бачане приснился сон: «Солнце тяжело дышало. Солнце прощалось с жизнью...»

Эта параллель (умирающий сапожник и солнце) отнюдь не велеречива. Нравственный пафос, я бы сказал, нравственный призыв романа в том, чтобы люди жили любя, чтобы жили просто и честно. Как Булика. И как Бачана.

«Скажите, товарищ Рамишвили, почему вы вступаете в партию?»

«Хочу, чтобы в партии было как можно больше честных людей!» — отвечает Бачана.

За этими словами (не фразой, а словами) — жизнь Бачаны, сложнейшие переделки, в которые попадает коммунист Рамишвили. И что бы ни случилось, он отстаивает, он утверждает на этой земле человечность, добро и красоту. Юношей он пошел против целой группы деревенских пошляков и вступился за девушку Тамару. Вступился за невинность. Мужчиной он встретил другую женщину — Марию. Тамара и Мария! Одна словно бы продолжает судьбу другой... Бачана стал для Марии, как в свое время для Тамары, духовной опорой. И сам он нашел в ней опору духовную. «Показалось ему, что комната разделилась на две части: Мария осталась в одной, он сам — в другой. Сторона Марии была полна воздуха, тепла, жизни и любви, он же очутился в страшной, пугающей пустоте, безвоздушном пространстве. И чтобы не задохнуться, он быстро встал, обошел стол, сел рядом с Марией, обнял ее и прикинул головой к ее груди, словно к вечнозеленому дереву жизни...»

Так Нодар Думбадзе воспел женщину. Воспел жизнь. Нашел слова в меру возвышенные и точные.

Думбадзе — мастер слова. Он в своих книгах разрушает ставшие условными, литературные формы повествования. При этом он преследует задачи не формальные, а содержательные. Он стремится выразить в литературе великое многообразие меняющейся жизни, написать о тех ее проявлениях, которые еще не стали предметом изображения большой прозы. Думбадзе идет не вслед, а впереди... Он достиг такой раскованности повествования, когда форма не ощущается, ее словно бы нет, когда автор и читатель — два друга-собеседника и говорят они на равных. Отсюда и сильнейшее эстетическое и этическое воздействие прозы Думбадзе на читателя.

...Итак — слово, дело и время. Нодар Думбадзе верен этому трудному единству. Жизнь писателя не расходится со словом, а слово — с делом. И все это (жизнь, слово и дело) материализуется во времени.

«Закон вечности» Нодара Думбадзе поможет читателю познать время, а значит и себя, свою жизнь. «Люди, будьте достойны своего времени» — так я понял основную мысль «Закона вечности». Мне дорог этот роман и его автор Нодар Думбадзе.

Статьи Гурама Гвердцители и Левона Мкртчяна, посвященные новому роману Нодара Думбадзе «Закон Вечности», еще набирались в типографии, когда пришла радостная весть о том, что это произведение отмечено Ленинской премией в области литературы за 1980 год.

Для нас глубоко символично «соседство» грузинского и армянского критиков — пронизанное высокими нравственными идеалами творчество Нодара Думбадзе давно перешагнуло границы Грузии и привлекло пристальный интерес всей советской критики.

Сегодня уже можно смело говорить об общенародном признании его доброго таланта и высокого писательского мастерства. Зримым олицетворением этого признания является присуждение Ленинской премии Нодару Думбадзе, и редакция «Литературной Грузии» присоединяется к поздравлениям в адрес нового ленинского лауреата.

Тамаз ЧИЛАДЗЕ

ТЕАТР—НАША ЛЮБОВЬ

Одним из самых важных свойств театра, которое отличает его от других видов искусства и, возможно, именно поэтому обеспечивает ему едва ли не ведущее место среди них, является то, что достижения его нельзя запечатлеть, сохранить. Причем... это и невозможно, ибо основополагающий принцип театра — это встреча живого человека с живым человеком, которую Ингмар Бергман называет «моментом странной и ужасной встречи».

Каждый спектакль — чудо, вспыхнувшая в небе комета, которая на мгновение ослепит и погаснет, чтобы завтра явиться нам в новом обличье. Каждое представление — ново, неповторимо, неведомо. Каждый спектакль рождается и растет на глазах у зрителей, более того, — вместе со зрителями, и когда он сходит со сцены, остается часть пространства, заряженная его таинственной силой, как река, впадающая в общий океан человеческого интеллекта. Это одна из величайших тайн театрального искусства. Возможно, именно ее имел в виду Бергман, когда называл встречу пьесы и зрителя «ужасной» (потусторонняя, иррациональная, необъяснимая встреча).

Непреложным фактом является также и то обстоятельство, что наших дней достигло влияние античного театра, ибо в памяти человечества надежно сбереженная, переходящая из поколения в поколение эстафета культурных ценностей всегда оставалась живой и действенной. Человечество превращает в часть своего генетического кода все, что необходимо для его развития, таким образом, в наших генах заключено аккумулярованное прошлое, а мы и не подозреваем об этом.

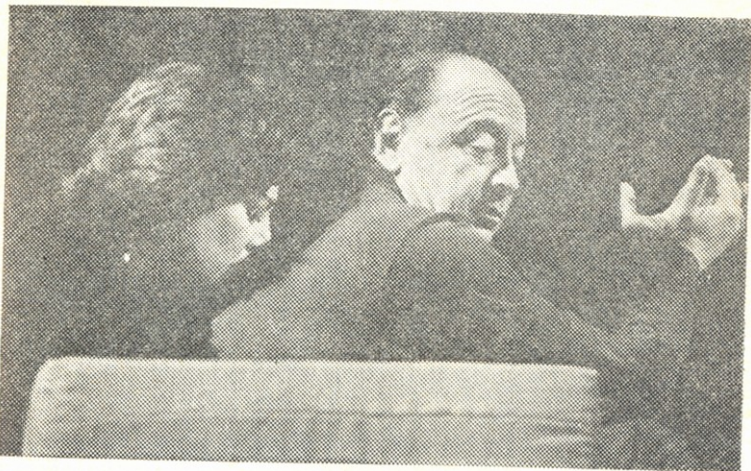
Достаточно одного толчка, одного подлинного произведения искусства, одного эмоционального или умственного потрясения, взрыва, шока, чтобы внезапно восстал из небытия тот непрерывавшийся путь, который каждый из нас прошел вместе с человечеством. В одно мгновение мы превращаемся из обычного гражданина в непосредственного участника истории человечества. А история — это прошлое, которое как вулкан извергает из своих недр раскаленную лаву твоей жизни...

Произносить эти слова легко и одновременно трудно. Легко потому, что для всех, кто имеет о театре хоть малейшее представление, они стали банальной истиной, и поэтому так ким людям слушать об этом еще раз даже скучно, но для тех, кто любит театр, это действительно единственная правда и в то же время — вечно новая. Поэтому трудно произносить эти слова вслух. Это все равно что объявлять во всеуслышание о своих самых интимных чувствах.

Всякий театр начинается с необходимости, с момента «не могу не сказать». А это означает, что какое бы ты роскошное здание ни построил, каких бы великолепных актеров ни пригласил в труппу, какой бы виртуозной техникой ни обладал, театра ты не создашь, если тебе нечего сказать, если ты не можешь сказать своего собственного слова, которое необходимо произнести вслух. Под этим подразумевается все (поэтому и велико театральное искусство): музыка, живопись, танец. И главное — поэзия, — или слово, начиненное музыкой, живописью и танцем...

Шекспир, Мольер, Ибсен, Чехов... У каждого из них — свой великий театр, имя каждого из них — великий урок искусства вообще, и, разумеется, театрального искусства. Эти вершины поэтического мышления потому так высоки, что на редкость близки каждому из нас, т. е. их сердца открыты для всех, кто хочет хотя бы на миг приобщиться к настоящему искусству.

И безжалостнее всего мы обращаемся именно с ними! И еще одно доказательство их величия в том, что несмотря на нашу ограниченность, узость интеллектуальных интересов (что, разумеется, относится не ко всем), они постоянно с нами



Сцена из спектакля театра им. К. Марджанишвили «Гнездо на девятом этаже» — Т. Чиладзе.

вместе, бодрствуют у ворот нашей души, как лекари у постели больного.

Признак их величия еще и в том, что они толкают, подстрекают нас к созданию мира, вовсе не похожего на этот мир, дают нам возможность прочесть их книги и использовать по своему усмотрению так, как нам нужно сейчас, сию минуту — мы можем даже вырывать страницы из книг или добавлять сцены, созданные нашим собственным воображением, чтобы, как нам кажется, обогатить, вернее, осовременить, как будто вечное и без того не является современным.

Они терпеливо, как и подобает учителям, следят, как мы по слогам читаем их сочинения, как мучимся, пытаюсь перевернуть страницу их книги, тяжелую, словно дверь храма.

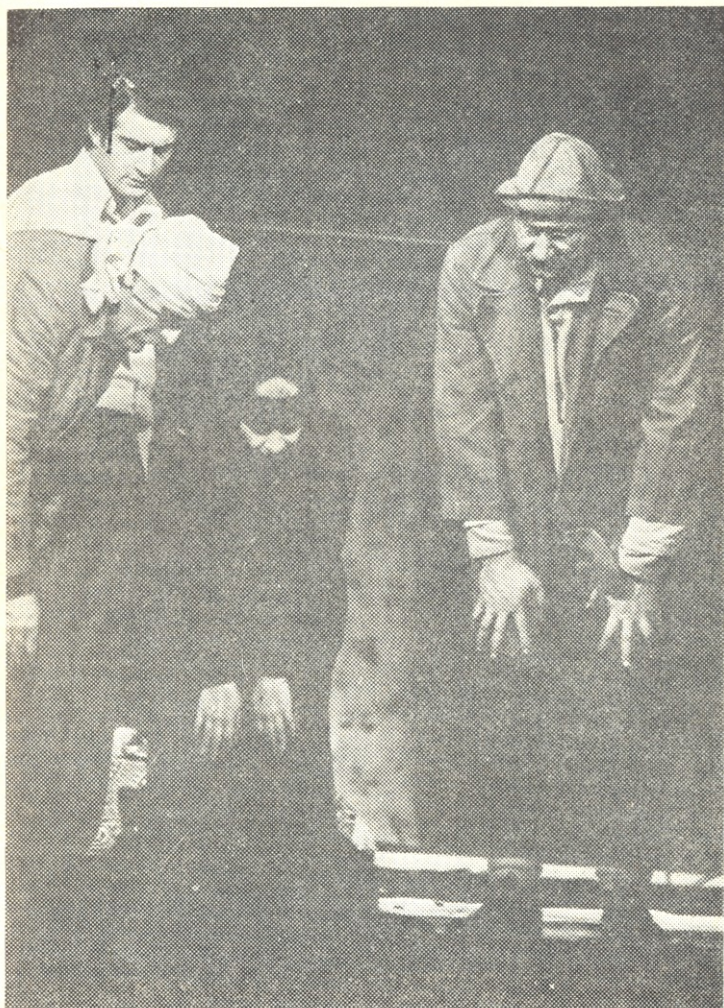
Известно, что существует множество прочтений «Гамлета» — величайшего творения искусства, множество интересных, оригинальных, отмеченных подлинным талантом постановок, резко отличающихся друг от друга, когда каждая отрицает все остальные и при всем при этом — все они порождены книгой Шекспира, т. е. само произведение содержит в себе множество разных представлений, множество разных образов. Например, разве эта гениальная пьеса не содержит в себе лирическую поэму об одиночестве, стиснутом между человеческой беспомощностью и добровольным распятием? Разве не может нам показаться, что дерзкие речи Гамлета с матерью, убийство Полония — это скорее желания, мысли и мечты, чем свершившийся факт? Гамлет хочет бросить правду матери в лицо, избавиться от назойливых друзей, легко, как мышь, убить Полония. Но разве все происходит на самом деле так? Во-первых, Гамлет обожает мать, и все горькие слова, обращенные к ней, свидетельствуют об этом, во-вторых, Полоний не так прост, чтобы легко позволить Гамлету убить себя. Величие образа Гамлета в том, что он один чувствует трагедию, и не только чувствует, но собственными своими руками, вернее — собственным своим желанием, и, наверное, будет еще точнее, если мы скажем — своей волей создает трагедию, помещает себя в центр этой трагедии, а царский двор при этом живет своей обычной жизнью.

В этом плане, а возможно, и вообще в более широком Гамлет очень напоминает нам Эдипа, который таким же образом, своими руками, своей совестью сам роет себе могилу.

Датский двор лишь в воображении Гамлета объят мраком, и не только двор — вся страна («Дания — темница!»). Если же набраться смелости, то можно добавить, что единственный поступок, совершенный Гамлетом в действительности — это смерть, больше похожая на самоубийство, являющаяся логическим итогом движения его мятущейся души. Гамлет умирает так поспешно, словно боится, что не другие, а он сам вдруг передумает умирать, откажется от смерти, которая, правда, разлучает его с этим миром, но зато разрушает и «темницу — Данию».

Прочтение Шекспира, которое я себе в данном случае позволил, отнюдь не первая и не самая дерзкая попытка такого рода и, я надеюсь, не последняя. Бесчисленное множество режиссеров во всем мире, сценаристов, литераторов бо-

рется, кромсает, раздирает это громадное, гибкое, упругое тело. Тысячи прокрустов на тысячах подмостков, на тысячах страниц или на киноленте пытаются охватить, втиснуть, втиснуть это бесконечное торжество человеческого духа, и в то же время эти десятки, сотни тысяч людей скорее заслуживают нашего сочувствия, чем иронии и, наверное, в связи с ними



Сцена из спектакля театра им. Ш. Руставели «Я, бабушка, Илико и Илларион» — Н. Думбадзе.

мне не следовало упоминать имя мифического разбойника, ибо их действия при всем при этом направлены на благо людей, и цель часто оказывается достигнутой, ибо крохотный ^{лучше} ~~лучше~~ из просторного мира, созданного Шекспиром, ущемляющийся на ладони, подобно локону святого, разом согревает сердца миллионов людей. Среди этих десятков тысяч людей много любимых мною режиссеров, актеров, композиторов и писателей, чье творчество отмечено печатью героизма, потому что общение с гением — это игра с огнем, и в то же время, так же как огонь, испепеляющий брвенную плоть, закаляет сталь, так же художник, попавший на орбиту гения, способный выдержать до конца и не испепелиться, непременно обретет самое драгоценное для художника — собственный голос, свой свет. Вот та школа, где ты находишь себя самого!

Разумеется, у художника бывает не один учитель, но среди учителей именно кто-то один по-настоящему определяет его дальнейший путь. Это отнюдь не означает, что ученик должен непременно сохранять верность методу учителя. В большинстве случаев (я имею в виду подлинных учителей и подлинных учеников) случается как раз наоборот — как только кончается период ученичества, появляется и новый путь. Генетика таланта — область весьма интересная. Если приглядимся повнимательнее, то обнаружим много неожиданного и странного, — невероятное, невысказанное сходство, тайные симпатии, «любовные» связи, и даже «незаконнорожденных» детей, удивительно похожих на родителей, от которых они яростно откращиваются.

В спектакле «Добрый человек из Сезуана», поставленном Робертом Стурюа, было больше от брехтовского театра, чем в «Кавказском меловом круге» того же режиссера. И я не побоюсь сказать, что именно этот фактор определил успех последнего спектакля. «Добрый человек из Сезуана» для Стурюа был периодом ученичества, поэтому (и это естественно!) все в нем походило скорее на талантливую имитацию. Но этот спектакль, эта учеба имели одно особенно важное значение — они научили Роберта Стурюа не брехтовскому, а независимому мышлению, помогли ему найти себя.

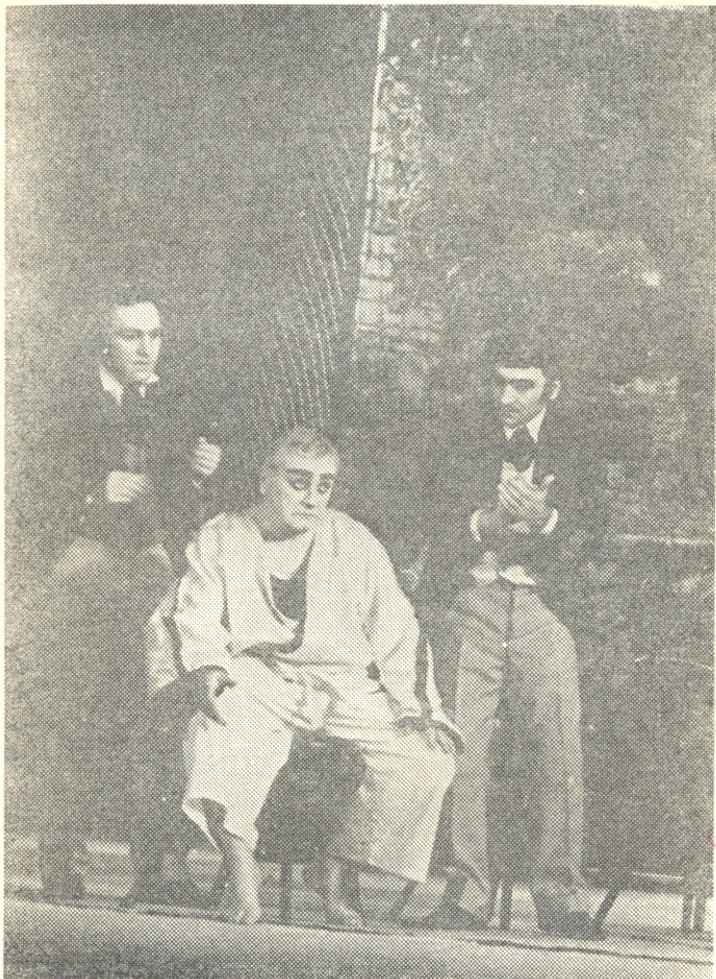
«Кавказский меловой круг» Р. Стурюа, разумеется, не является спектаклем брехтовского театра. Здесь опять-таки большое (почти решающее) значение придается катарсису (которого, оказывается, Брехт не любил!), перевоплощению, и, представьте себе, эстетическому наслаждению (этому неотъемлемому атрибуту всех видов искусства). Как верно отметили некоторые из рецензентов, это был шедевр, возникший на традициях грузинского театра.

Фактом, что вышеупомянутый спектакль создан не по теории Брехта, подтверждается еще и то обстоятельство, что и сама пьеса Брехта отнюдь не носит локального характера, и написана не только для определенного театра или труппы, как иллюстрация определенной театральной теории. Если бы это было не так, нам следовало бы усомниться в поэзии Брехта.

Таким образом, «Кавказский меловой круг», поставлен-
ный Р. Стуруа — не шаг к Брехту, а шаг от Брехта к новым
свершениям.

7
1933
3022010333

Некоторые считают, что пьеса Брехта непременно долж-
на быть поставлена в согласии с принципами брехтовского те-
атра. Если мы с этим согласимся (что лично мне кажется для
грузинского театра неприемлемым), тогда не только пьесы



Сцена из спектакля театра им. Ш. Руставели «Кваркваре». —
П. Какабадзе.

Брехта, но все те произведения, чьи авторы создали свой театр, должны ставиться соответствующим образом. Если мы допустим или хотя бы представим такое хоть на минуту, то получим не спектакли, а пирамиды, внутри которых, в недоступных, хранится мумия драматурга.

В «Кавказском меловом круге» небрежнее всего, можно сказать — варварски обращаются именно с Брехтом и тем не менее (как всякий настоящий поэт) Брехт остается победителем.

Само по себе и ученичество в определенном смысле — тоже творчество — в эту пору лепишь собственную личность, свое будущее лицо, но здесь возможна и такая крайность: учеба перейдет в беспомощность, и это действительно может случиться в том случае, если эта учеба не будет сопутствовать творчеству — вернее творческому процессу, не как следование образцу, не синхронно, не параллельно, а слитно, нераздельно. Одновременные учеба и творчество, одновременное рождение личности и плода ее творчества, т. е. когда учась, создаешь и, созидая, творя — учишься!

Кое-кто думает, что современная пьеса должна быть свободна от всяческого перевоплощения, катарсиса и иллюзий и доказательством, что такое возможно, выдвигают театр Брехта. Конечно, этот театр обладает бесспорными достоинствами (которые, между прочим, вовсе не обязаны признавать все!), но если мы канонизируем его методы, то оставим за стенами театра многих, абсолютно не схожих друг с другом драматургов только лишь потому, что творчество ни одного из них не укладывается в рамки брехтовской теории. Я считаю недопустимым делать догмой эстетику, теории, каноны эстетической системы одного театра, ибо это противоречит сущности театрального искусства как такового. А сущность театрального искусства — поэзия, требующая непрерывного движения, непрерывных перемен, непрерывного обновления. Мы обладаем богатой и интересной театральной традицией, которая, кстати, учит нас, что лучше самому создавать новое или развивать «традиционный» театр, отвечающий запросам твоего зрителя (и в этом нет ничего зазорного!), чем приспособиться к чужой театральной догме, которая в конечном итоге непременно сделает тебя смешным, ибо все увидят, что ты облачился в чужие одежды.

Каким бы невероятным это ни показалось кому-то, я все же скажу, что пластика спектакля, поставленного по пьесе Брехта, вернее — пластическая интонация была найдена Робертом Стурва еще в «Хануме». Несмотря на качественное различие этих двух спектаклей, я все же должен отметить: то, что в «Хануме» присутствовало в зачаточном виде, в этом замечательном спектакле (в «Кавказском меловом круге») уже обретает свою законченность. Скажу еще, что в этом спектакле немецкая пьеса в большей степени «переведена» на грузинский, чем в литературном тексте перевода.

Сказанное мною отнюдь не вступает в противоречие с мыслью, что учиться следует непрестанно, и учиться следует хотя бы у такого поэта, каким был Брехт, но в то же время ни на мгновение нельзя терять ощущение мелодии своей соб-



Сцена из спектакля театра им. Ш. Руставели «Кавказский меловой круг» — Б. Брехт.

ственной поэзии — мелодии твоего существа, ощущения, которое служит надежным рулем в океане искусства.

Мы не чувствуем (и этому не следует удивляться), что необозримыми пространствами нашей жизни незаметно и неотвратно овладевает поэзия, этот старый друг, забытый нами, подобно другу детства. И вот теперь она возвращается, как море во время прилива.

Маленькие группки молодежи в подъездах, на улицах, в садах и кафе еще недавно — робко и негромко, а сегодня — уже во всеуслышанье оповещают, что в эпоху расцвета научно-технической революции к нам вернулись юные трубадуры, барды, волынщики... Забил фонтан музыкального фольклора. Целое поколение охвачено странной, неумемной страстью, говоря словами одной из песен Густава Малера — избирает «ремесло страдания и любви», т. е. ударяется в поэзию, ищет себя — что по сути одно и то же. Поэзия есть ощущение значения собственной личности.

Неоспорим факт, что поэзия внешне стала самым характерным признаком технической эпохи. Интуитивное стремление человека к гармонии в конце концов привело нас к поэзии, и это произошло в наиболее кульминационный момент кризиса личности.

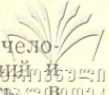
Если нам что-то и напоминает театр, то наибольшее сходство он обнаруживает с заседанием суда, рассматривающего дела разных людей. Там тоже часто разыгрываются и драмы, и комедии. Но в отличие от театра, эти драмы или комедии носят частный, конкретный характер. А в театре судьба каждого из нас благодаря поэзии обобщается и приобретает значимость. Каким жалким был бы Эдип в суде и как он велик на сцене!

Сегодня и наука по вдохновенности приближается к поэзии. Именно у Брехта, которого я так часто упоминаю, находим в его «рабочем дневнике» такую фразу: «Наука когда-нибудь снова превратится в искусство».

Каждый акт нашей встречи с абсолютной поэзией — еще один шаг на трудном и нескончаемом пути к окончательному освобождению человека от стихии. У Киплинга в «Маугли» есть глава «Весенние тревоги», где мы читаем: «Большая, горячая слеза упала на его колено, и хотя Маугли был весь во власти отчаянья, он все же чувствовал себя почти счастливым оттого, что был так жалок».

Маугли чувствует, что он отделяется от природы и этот головокружительный процесс, полный блаженства и боли, похож на сотворение мира. Тем самым я хочу сказать, что поэзия всегда присутствует там, где человек, т. е. все человеческое — поэтично.

Пытливая природа человека постоянно стремится постигнуть суть каждого явления, с помощью всевозможных знаний, подкрепленных логикой, заключить в клетку формул и канонов все, что существует вокруг. И в то же время — создать картотеку своеобразий своего существа, картотеку собственных страстей. В этой области человек сделал большие успехи. Но существует еще много такого, что остается непознанным и необъяснимым, ибо не подчиняется логике, трезвому



рассудку. Существует другая, обьятая тайной, сторона человеческой души. Именно из недр этих необъяснимых явлений рождается поэзия. «Мыслящая» машина может сыграть шахматы, написать стихотворение, решить задачу и еще многое другое, если мы ее заранее к этому «подготовим», она может дойти до того, что даст приют беглецу, но никакая машина (даже если она научится говорить), не ответит полицейским словами епископа из «Отверженных» Виктора Гюго: «Подсвечники Жану Вальжану подарил я». Вот это и есть поэзия — странная правда алогичного поведения и воли человека.

Давно забыли мы бородатых физиков с гитарами, выращивших как грибы в начале 60-х годов в нашей литературе, в театре и особенно в кинематографе. Они пели, в основном песни Булата Окуджава, или когда не пели, говорили о лирике, и именно это определяло у них степень глубины «научных» знаний. Если прислушаться к их беседам, вернее, к тем речам, которые вкладывали в их уста драматург или сценарист, известный диалог Тагора и Эйнштейна покажется беседой слушателей духовной семинарии. Сегодня такие герои бесследно сошли со сцены, и ничего не выглядит столь провинциально, как «физики» такого рода. Французы говорят, что мода смешна в своем начале и в конце. Это и вправду была мода, а не явление, вызванное жизнью. Жизнь готовила нам более важную и крупную неожиданность — признание идентичности науки и поэзии! Я говорю «признание», потому что эта идея давно уже закаливалась в горниле духа лучших мыслителей человечества, а в XX в. была высказана Эйнштейном: «В научном мышлении всегда есть элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка требуют однородного процесса».

Академик Колмогоров считает, что поэзия дает нам «...оружие для организации внутренней духовной жизни». Здесь интересен момент, связанный с практическим назначением поэзии.

То, что создает сегодня наука, является результатом долгой подспудной работы поэзии, философии и религии, направленной на совершенствование человеческой личности. В самом деле, только совершенная личность может осуществить великий союз между поэзией и наукой, точнее — объединить две полусферы человеческой души.

Научно-техническая революция способствует развитию поэзии. Потому мы вспоминаем сегодня почти забытые литературные и театральные формы. На сцене появились сказки, притчи, баллады... И в то же время все почувствовали, что поэзия, оказывается, означает еще и точность.

Точная реакция — вот что такое актер! И не только актер, без этого немислим и художник, и писатель, и композитор. У Бабеля есть такое сравнение: «Он ждал тернеливо, как мужик в канцелярии». Это один из ярких примеров удивительной точности метафорического мышления. Как японская танка — в капле виден океан! В «Персах» Эсхила Атосса, только что узнавшая о поражении персов, спрашивает у гонца, кто же из военачальников уцелел. Она не решается спро-

сильно о сыне прямо. Гонец понимает тревогу матери и отвечает, что Ксеркс жив. И царица, которой только что сообщили о гибели лучшего воинства всей Азии, не может скрыть радости: слова твои похожи на проглянувшее солнце. — говорит она гонцу. Писатель с меньшим дарованием вложил бы в уста Атоссы другие слова: пусть, дескать, моего сына постигнет участь остальных.

Поэзия, в той же степени, в какой она основывается на точности, требует четко означенной позиции как от театра в целом, так и от каждого из актеров. У настоящего артиста есть своя творческая идея, за которую он сражается, которую он утверждает.

«Первоначальная вещь определена; вещь, созданная искусством, должна быть еще определенной...» — говорил Рильке. Поэзия опирается на жизнь, на жизненную правду, которая должна быть освещена сегодняшним днем. Следовательно, позиция художника должна соответствовать сегодняшним потребностям, т. е. нельзя смотреть на сегодняшний день с вчерашних позиций. Читатель или зритель в бессмертном творении ищет отражение своей сегодняшней жизни, более того — он вкладывает в это произведение свою жизнь — и так до бесконечности. Встреча с каждым новым читателем или зрителем растит и обогащает всякое истинное творение искусства. «Старинный язык может вводить нас в обман, — говорил Анатоль Франс, — потому что отдаленность придает очарование вещам прошлого, и мы находим прелесть в том, что не представляло никакой прелести для прежних людей». Это значит, что так же, как всякое старинное произведение должно переводиться современным языком, так и актер не должен прибегать к старой, готовой форме, раскрывая классический образ. Труд переводчика и труд актера между собой в высшей степени схожи.

Есть режиссеры — и к их числу принадлежит известный мастер Димитрий Алексидзе — ищущие в мире поэзии тот клад, тот трудно находимый краеугольный камень, который может послужить опорой современному человеку. (Вспомним спектакли Д. Алексидзе, поставленные по произведениям Софокла, Миллера, Важа Пшавела, Брехта). Из таких камней строят плотины, чтобы спасти человеческую душу от эрозии. Творчество этих романтиков, несмотря на пророчества «знатоков», постепенно становится все более значимым, или вернее — мы постигаем их значимость, ибо на фоне однообразия, равнодушия и скепсиса они показывают красоту человеческой души с первозданным блеском и наивностью — т. е. с божественной щедростью.

«Дом Бернарды Альбы», прекрасно поставленный Темуrom Чхеидзе, — произведение интересное, глубоко поэтичное. Сюжет его исчерпывается фактически первым актом. Олби, например, эту пьесу закончил бы первым же действием. Ибо в нем все уже сказано, однако второе и третье действия — отнюдь не вариации на одну и ту же тему. Можно назвать это градационной монотонностью, тремя кругами ада, похожими друг на друга и все же разными (хотя бы по темпераменту).

В этой пьесе чувствуется со всею мощью энергия поэзии Лорки. И в спектакле Т. Чхеидзе поэзия дышит полной грудью, здесь не происходит стилизации поэзии. Я подчеркиваю это потому, что именно из-за стилизации не получился «Вечер поэзии», поставленный замечательным режиссером Михаилом Туманишвили в театре Руставели. Непременно следует отметить также, что у нас это было первой попыткой спектакля такого типа, поэтому сначала же можно было предположить неизбежность промахов. Этому спектаклю не хватало ощущения необходимости, обязательности. Хотя внешне он был очень эффектен, вернее — были придуманы очень эффектные схемы, что в конечном итоге подавило главное — поэзию! Но в том же спектакле был фрагмент подлинного искусства — образец истинной поэзии — «Невзгоды Дариспана»¹, от которого оставался всего один шаг до нашумевшей впоследствии «Мачехи Саманишвили».

«Ромео и Джульетта» в театре Руставели были до такой степени стилизованы, что померкло даже значение смерти, являющейся для Шекспира одним из средств проявления величия человека; смерть в творчестве этого гениального драматурга так же действительна и величава, как любовь. Правда, человек умирает, но рождается бессмертная личность! Если мы не примем этого во внимание, то превратим эту божественную поэму любви в обычную историю, одну из тех, которые ежедневно тысячами происходят в разных уголках мира, в городах и деревнях. В этом спектакле актеры, как искусные опытные саперы, усердно, прилежно раскрывали образ — снимали взрыватель (который, кстати сказать, являлся самодельным, ибо принадлежал скорее режиссеру, чем автору пьесы), и в самом деле, мы становились свидетелями того, что мина не взрывалась. Разумеется, это тоже интересно, но в театр мы идем не для того, чтобы восхищаться работой саперов, какой бы искусной она ни была. Мина не взрывается, ты становишься свидетелем явного чуда, но зато теряется ощущение величия трагедии. Здесь, бесспорно, по отношению к поэзии допущена какая-то неточность.

С пьесой Шекспира иначе не справиться (в данном случае я говорю не о конкретных спектаклях, а вообще), если не противопоставить ему собственного творчества или собственную личность, собственные размышления, собственные страдания. Только в результате этого противостояния, борьбы, соперничества можно достичь некоторого гармонического союза с этим гениальным явлением. Если в данный момент ты не чувствуешь себя ровней Шекспиру (как бы нескромно это не звучало!), твоя попытка окажется тщетной, сам Шекспир не подпустит тебя к себе. Если же ты взвалишь эту трагедию на спину, покорный и смиренный, как абсолютную, неприступную величину, то может получиться, что ты либо поднимешь этот монолит, либо нет. В первом и сравнительно благополучном случае ты можешь снискать славу хорошего тяжелоатлета, но не художника.

¹ По известному произведению Д. Клдншвили.

Художник (поэт) — артист так «грубо», бесцеремонно обращается с образом-«миной», что она взрывается у него в руках, но в тот же миг рождается новое величие, новое значение этого образа...

Когда говорят, что у театра появился опасный враг, подразумевают телевидение. Телевизор был одним из первых вестников НТР, который с невинным видом, как простая забава вошел в наши дома, на самом же деле он выполнил функции троянского коня — разрушил наш покой, вернее — коренным образом изменил наше традиционное представление об отдыхе и покое в доме, занял все наше свободное время. Можно смело утверждать, что ни одна из «забав» не обладает такой притягательной силой. Признавая эту силу, мы стараемся по возможности направить ее влияние на полезный путь.

Главное достоинство телевидения — то, что оно может быть в высшей степени оперативным. Это, разумеется, драгоценное свойство, и правильное его применение, несомненно, выгодно и полезно. По скорости и наглядности в подаче информации телевидение превзошло нашего старого друга — радио и давно выставило его на кухню, тогда как телевизор в наших квартирах занимает самое почетное место.

С каждым днем все труднее оторваться от магического свечения голубого экрана. Телевизор — как детектив, всех увлекает, но признаваться в этом вслух почему-то считается дурным тоном.

Телевидение сегодня вторглось уже в те сферы, которые раньше всецело принадлежали искусству, хотя и само телевидение склонно объявить себя одним из видов искусства. На самом же деле это мощное производство современной индустрии, цех массовой культуры, со своей техникой и целой армией служащих, больше похожий на щедрого и богатого мецената, чем на самого творца. Оно предоставляет возможность театру, кино, литературе, живописи ярче продемонстрировать свои достижения. Деятельность же телевидения до сего дня ограничивалась рамками эпигонства: оно создает телеспектакль, телефильм, телебалет, телероман, и представьте себе, даже — телестихотворения!

Когда мы говорим о телевидении, не следует забывать, что назначение его несравненно шире того, чем мы обычно себе представляем. Кроме искусства, которому оно служит и в разновидность которого явно собирается превратиться, оно участвует и в других, весьма важных сферах нашей деятельности, не только участвует, но для некоторых областей оно стало насущной необходимостью: наука, индустрия, производство, сельское хозяйство, педагогика...

Правда, чем больше проходит времени и чем больше растут технические возможности телевидения, тем очевиднее становится, что зритель и слушатель, ненадолго замороженный этим чудом техники, возвращается к театру и вообще к искусству. Произошло невероятное — телевизор не отнял у театра зрителя, напротив — удвоил интерес зрителя ко всему первичному и подлинному, иначе говоря, породил в людях стремление к театру. Как известно, в Москве, Нью-Йорке, Париже,

Лондоне — в этих городах высокой театральной культуры залы переполнены, и никто не может сказать, что телевизоры там работают хуже, чем у нас в Тбилиси.

Чтобы выяснить, почему пустуют залы наших театров, кажется, надо обращаться не к телевидению, а к грузинской драматургии.

Ничто так не объединяет литературу и театр, как драматургия, пьеса, делающие в то же время очевидным тот факт, что они друг для друга необходимы. Пьеса — как женщина, имеет два дома — отцовский (литература) и супружеский (театр).

Театр, если он параллельно не создает своей драматургии, обречен на поражение. Кстати сказать, одна из первейших задач театра — воспитать драматурга, который, в свою очередь, предоставит ему необходимую пищу. Наши театры (и среди них один из первых — театр Руставели) постепенно приближаются к той черте, за которой сделать шаг вперед будет уже невозможно. Те уступки, на которые они явно идут, та литературная синтетика, которой они пытаются заполнить пробелы в репертуаре, рано или поздно поставят их перед угрозой кризиса, причем кризиса не только репертуарного.

Гнездо драматурга — театр. Он связан с театром пуповиной, должен иметь дело в театре хотя бы как рабочий сцены, должен так любить его, чтобы не мочь без него жить... Тот, кто, написав одну пьесу, провел всю жизнь у кабинета завлита, разумеется, не драматург. Пьесы теперь пишут многие, а драматургов, мягко говоря, у нас совсем немного. Кроме того, в последние годы появился тип драматурга-дельца, который как только почувял выгоду писания пьес на современную тему и обнаружил у себя определенный дар к составлению драматургических схем, начал производить литературную синтетику, и представьте себе, многие театры, и среди них самые передовые, клюнули на эту наживку. На сегодняшний день репертуары наших театров заполнены подобной синтетикой. Там не найдешь поэзии современной жизни.

В нашем театре явно возросла роль режиссера, но это не должно повлечь за собой принижение роли драматурга. Если мы обратимся к истории других театров (русский, французский, английский театры), то увидим, что именно тандем режиссера и драматурга совершает чудеса. Нельзя также забывать завет К. Марджанишвили: «Я неуклонно придерживаюсь принципа, что хозяином пьесы является автор и поэтому, ставя ту или иную пьесу, я сохраняю тот стиль, в котором она написана». Между прочим, когда мы вернем драматургии ее первичные права, когда будем рассматривать ее как литературный жанр, тогда, разумеется, упорядочится вопрос перевода наших пьес на другие языки, носящего сегодня случайный и более того — хаотический характер.

Справедливо требуя от молодых писателей и художников знания жизни, профессионализма и мастерства, мы забываем предъявить им главное требование — быть, прежде всего, творцами!

Знания и опыт, полученные человечеством от литературы и искусства, такое же необходимое, такое же решающее ус-

ловие для творчества, как знание жизни. Мы же часто об этом забываем, или стараемся забыть, или делаем вид, будто уже забыли о том, какое значение имеет для художника, для творца, книга...

Мы как будто служим искусству, а на самом деле насаждаем эмпиризм. Эмпиризм и искусство, как известно, два совершенно разных, исключаящих друг друга понятия. Мы не должны путать жизненный опыт автора с творческим импульсом.

«Чувство жизни — вот что в первую очередь нужно тому, кто хочет стать драматургом, а вовсе не чувство сцены», — сегодня под этим афоризмом Шона О'Кейси подписались бы многие, но одного знания жизни, самого по себе очень важного, недостаточно, чтобы стать драматургом, необходимо быть творцом. Талант подразумевает одновременно и знание жизни и творческую потенцию.

Для каждого творца необходимо поэтическое начало, стиль, идея. Понятие поэзии я, разумеется, употребляю в широком смысле. Чтобы пояснить свою мысль, скажу — даже образ Гобсека создан с помощью поэзии. Нас же страх перед поэтичностью довел до того, что из нашей драматургии совершенно ушел артистизм, я имею в виду истинный артистизм мастера, а не мимирию ремесленника.

Существует такая изюшка: в мчащейся на большой скорости машине сидят муж с женой: муж за рулем, жена — рядом с ним. Видно, жена так надоела водителю своими наставлениями, что он вырвал руль и передаст ей — мол, веди машину сама!

Этим я вот что хочу сказать: советы может давать тот, кто понимает в твоём деле или лучше тебя (что желательно!) или хотя бы так же, как ты, т. е. судить должны профессионалы. Но кого мы называем профессионалами, когда речь идет о театре? Разумеется, в данном случае мы не можем ограничиться одними театроведами. Может случиться и так, что они сами окажутся в роли любителей рядом с актерами, режиссером, художником, композитором, писателем и, представьте себе, даже рядом со зрителем.

Театр — одно из таких чудес, к которому меньше всего подходит термин — «ведение», здесь ведь никто ничего не знает до конца! Даже режиссер, на репетициях кажущийся нам всемогущим монархом, каждый жест и каждое слово которого завораживают, ибо напоминают колдовство, даже он не знает, что ждет его спектакль. Актер не знает, как он исполнит роль на премьере, несмотря на самоотверженный труд и многочисленные репетиции. Ни один знаток-«вед» не скажет даже на генеральной репетиции, каким будет спектакль — провалится или победит.

Окутанная тайной неопределенность, ожидание, надежда на чудесные возможности человека, божественная искра, которую может внести в зал обычный зритель, и разгорающаяся на сцене пожаром искусства — вот что такое театр, наша любовь!

Случилось так, что первой репетицией, на которой я присутствовал, оказалась не театральная, а репетиция симфони-

ческого оркестра в Большом зале консерватории. Дирижировал Ферреро! Исполнялся вальс Сибелиуса. Ферреро, видимо, неважно себя чувствовал. Время от времени он загоразживал лицо рукой и стоял так, закрыв глаза. Оркестранты с тревогой и сочувствием следили за прославленным маэстро. И нам, сидевшим на галерке, передалось их волнение. А в тот же вечер — на концерте — улыбающийся Ферреро был так блестящ, так вдохновенен, так музыкально гибок (барс во фраке), полон такой энергии и так счастлив, что его утреннее недомогание я воспринял как необходимый элемент профессии дирижера, и в моем сознании навсегда остались связанными боль и музыка... В данном случае я, разумеется, говорю лишь о живости и глубине впечатлений, полученных в юности, иначе я вообще не рискнул бы рассуждать о музыке и дирижерском искусстве.

Так же как большинство любителей музыки, не имеющих специального образования и, по чьему-то удачному выражению, наслаждающихся музыкой, не понимая ее, я всегда пытался в музыке, в недрах феномена, вечно волнующего благодаря своей таинственной силе — найти что-то близкое мне (знакомое лицо — в толпе, адрес или номер телефона — в незнакомом городе), ухватиться за него, как утопающий за соломинку, чтобы как-то удержаться, остановить бесцельное, унижительно беспомощное барахтанье на волнах этой сильной реки, которая целеустремленно и вдохновенно, сверкающая и гордая, как поезд в ночи, летела другой дорогой, в другое место, к другим людям. И как бесконечно, почти до слез, бывал я благодарен тем композиторам (а они все почему-то были великими композиторами), в чьих произведениях я находил (или думал, что находил) что-то знакомое для меня.

Это была милость гения: перила балкона, палка слепого. Конечно, такое восприятие музыки многим может показаться примитивным, наверное, так оно и есть, и хотя я уже вижу ироническую улыбку профессиональных музыковедов (вот еще одно «ведение!»), я все-таки скажу (ибо убежден в этом), что самые великие музыкальные творения писались для нас, простых смертных, и если бы это было не так, то их существование (я имею в виду музыковедов) не имело бы никакого смысла. Говард Таубмен пишет о Тосканини: «Он отличал настоящих любителей музыки от «знатоков» и критиков». Разумеется, тем самым я несколько не собираюсь принизить роль музыковедов, в самом деле, сложную и почетную, но при этом мы все-таки не должны забывать, что так же, как перед жизнью и смертью, и перед искусством мы все равны. Только нужно любить его всей душой. А любовь в этом мире — самое великое знание!

Перевод Анаиды БЕСТАВАШВИЛИ

ОТКРЫТАЯ РАНА

Почти немислимо представить, что сегодня о немецко-итальянском фашизме, давно уже похороненном и сделавшемся достоянием истории, может быть создан фильм, да еще документальный, в котором сказано нечто новое, что увлечет зрителя и заставит его пережить то огромное эмоциональное напряжение, которое переживали мы некогда при встрече с первыми впечатляющими произведениями, созданными на эту тему. Казалось бы, все уже давным-давно написано, все стало на свои места, и все новое, что могло быть сказано об этом, окажется лишь повторением уже сказанного.

Однако все это — лишь на первый взгляд.

Горячее сердце, неравнодушное отношение художника к явлению и умение найти соответствующие формы выражения этого отношения обладают поистине чудодейственной силой. Кто присутствовал на премьере нового грузинского фильма в тбилисском Доме кино, нисколько не усомнится в верности этого положения. Погас экран, зажегся в зале свет, но еще долго не смолкали аплодисменты. Сотни взволнованных лиц говорили о том, что происходящее несколько минут назад на экране затронуло потаенные струны души, фильм приподнял какие-то, казалось бы, навсегда залегшие пласты в сознании и сердцах людей и разбередил уже было зарубцевавшуюся рану. Однако боль, испытанная при этом, имела сильный привкус радости — такой бывает боль при соприкосновении с истинным искусством.

Так что же это был за фильм, столь взволновавший избалованного не такими уж редкими победами своего киноискусства грузинского зрителя, которому не в диковинку всевозможные призы и золотые медали, привозимые с родины «большого кино», и требования которого к «великому немому» Грузии все возрастают? Этот фильм — «La Stella Alpina» — «Альпийская звезда», созданный документалистами Тбилисской студии документальных фильмов. Автор сценария и режиссер-постановщик — Реваз Табукашвили. Писатель и на этот раз, после беспрецедентного фильма о Михаиле Тамарашвили, выступил перед нами в новом для него амплуа режиссера-документалиста.

Однако он не ограничился этим: «Альпийская звезда» положила начало новому жанру в нашем кинематографе, жанру неопублицистики, который до сих пор все еще не был очерчен, но теперь о нем смело можно говорить. Реваз Табукашвили непосредственно выступает перед кинозрителем как публицист и дает свою интерпретацию и оценку происходящим на экране событиям. Дикторский текст сопутствует изображению и в единой целостности с ним воздействует на сердце и разум зрителя.

«Альпийская звезда» — газета борющихся против фашизма партизанских дивизий, носивших имя великого освободителя Италии Джузеппе Гарибальди. Эти легендарные соединения действовали в горах Северной Италии, в Альпах, и на протяжении всех лет войны выходила газета «Альпийская звезда», высоко держа знамя завтрашней свободной Италии, свободной Европы.

Фильм начинается энергичным стуком старинной печатной машины. На экране — крупным планом свежие номера «La Stella Alpina». Затем идут титры. Звучит дикторский текст — «Война и в Италии давно кончилась»... Как будто бы такие простые, будничные слова, придумать их и «посадить» сюда, казалось бы, ничего не стоило. Но — мы ошибаемся! Эта тривиальная фраза о том, что война давно кончилась не только у нас, но и в Италии, благодаря скрытому грустному юмору и особой интонации звучит для зрителя совершенно по-иному, и после этих слов он уже не может отвести глаз от экрана.

Ты, зритель, уже догадываешься, что никто не собирается удивлять тебя новациями и пускать пыль в глаза, что авторы фильма — твои друзья и у них одна-единственная цель — передать твоему сердцу огонь своих сердец и приобщить тебя к любви человека к человеку.

В фильме мы не встретим таких высокопарных слов, как только что вырвались у меня, но я стремлюсь этими словами охарактеризовать дух увиденного и пережитого, и, надеюсь, никто меня не упрекнет в том, что я не нашел иных, более подходящих слов.

Главное, ради чего я взял в руки перо, это не только фильм, но и та предварительная работа, которую до его создания проделал Реваз Табукашвили, чтобы обессмертить дела своих соотечественников — участников итальянского Сопротивления. В фильме об этом ничего не говорится, но кое-что мне известно, и я хочу поделиться этим с читателем.

Реваз Табукашвили намерен посвятить серию документальных фильмов грузинам за рубежом, их роли и заслугам в древней, новой и новейшей истории тех стран, в которых протекала их деятельность.

«Альпийская звезда» — четвертый фильм этой серии. В первом и втором фильмах, снятых по сценарию Р. Табукашвили режиссером Гней Чубабриа, как все, вероятно, помнят, рассказывалось о беспримерном героизме 850 грузинских военнопленных на острове Тессель, в Северной Голландии. Третий фильм — о самоотверженном сыне отечества, выдающемся историке, католическом патере, волею судеб погибшем вдали от

родины, спасая жизнь незнакомого ему человека, Михаиле Табурашвили. И четвертый — об участии наших соотечественников в итальянском движении Сопротивления...

Несколько слов о тессельской эпопее, вернее — о фильме, посвященном ей.

Для меня тема восстания на острове Тессель — не terra incognita. Мой роман «Страстная неделя», который ожидает и, вероятно, дождется завершения, посвящен именно тессельской трагедии. Для сбора материалов и рекогносцировки и мне довелось побывать в Голландии. Видел я остров Тессель и братское кладбище, где вместе с уроженцами Голландии покоятся более пятисот пятидесяти грузинских военнопленных, погибших в боях за освобождение этого маленького острова в Северном море. За кладбищем тщательно ухаживают. Ежегодно 4 мая из Гааги на Тессель отправляется советское дипломатическое представительство. Съезжаются гости из различных уголков страны, и на братском кладбище устраивается многолюдный митинг. Корабли, идущие мимо Тесселя, салютуют тремя короткими гудками в честь погибших чужеземных героев. За всё это, за возрождение героической тессельской эпопеи в жизни современных Нидерландов, за пробуждение интереса к ней работающих там советских организаций и за этот торжественно-траурный день 4 мая мы должны быть благодарны Ревазу Табукашвили, его патриотическому чувству, его способности устанавливать достойные взаимоотношения с людьми, в том числе — с иностранцами.

Р. Табукашвили не ограничился и этим. Он обратился к грузинским скульпторам и приобщил их к тому большому делу, которое осуществлял. Для братского кладбища была специально изготовлена калитка, украшенная грузинской чеканкой, которую Р. Табукашвили с немалым трудом переправил в Голландию, на остров Тессель, и установил при входе на кладбище.

А сколько времени, труда и терпения нужно было затратить, чтобы на братскую могилу павших в Италии антифашистов, в том числе грузин, перевезти грандиозный монумент, выполненный скульптором Георгием Джапаридзе, и осуществить этот рейс именно на танкере, носящем имя Форэ Мосулишвили!

Об этом в фильме прямо не сказано, это лишь подразумевается, но ведь иной раз то, что подразумевается, существеннее того, что говорится.

Прекрасная Италия — колыбель цивилизации человечества, волшебная страна великих зодчих, скульпторов и живописцев, поэтов, музыкантов и, наконец, кинематографистов, ее повидали многие из нас и многие восхищались ее красотой и величием, но Италия, открытая в фильме, удивительно близка нам, она представляется как бы продолжением нашей родины — Грузии.

На земле Италии плечом к плечу с итальянцами сражались грузины, с такой же легендарной самоотверженностью и мужеством, так же, как много-много лет назад их деды и прадеды сражались с бесчисленными полчищами врагов, отстаи-

вая свободу своей родины. В фильме немало эпизодов, подтверждающих это.

В Италии два национальных героя-иностранца. Один — русский Федор Полетаев, другой — грузин, парень из кахетинского села Квемо-Мачхаани Форэ Мосулишвили! О героизме, свершенном вдали, на родине героев узнали не скоро. Если не ошибаюсь, впервые упомянул имена Федора Полетаева и Форэ Мосулишвили Секия и комиссар гарибальдийских дивизий Чино Москателли в своей книге об итальянском Сопротивлении.

Фильм «Альпийская звезда» правдиво и убедительно повествует о героической гибели Форэ Мосулишвили. Все, что он делал в тот день, мог делать лишь человек большой души.

В кадре — уже пожилая Терезина Мота, возлюбленная Форэ, с которой он мечтал вернуться на родину. Вот и квартира Терезины, где находились Форэ и его друзья в то самое время, когда к селу приблизились эсэсовцы. «Я хотела, чтобы они остались здесь», — рассказывает взволнованная встречей с соотечественниками любимого человека Терезина. Но Форэ не остался. Он хорошо знал, что стало бы с его друзьями, если бы их здесь застали. Они укрепились в заброшенной хижине на окраине деревни. Вот и эта хижина. Те, кто остался в живых, вспоминают, как и что случилось там. Немцы потребовали выдачи командира, в противном случае пригрозили всех перебить. Вместо командира вышел Форэ. «Да здравствует свободная Италия! Да здравствует Грузия!» — с этими словами он застрелился на глазах у озверевших врагов. Остальным была сохранена жизнь.

Немцы обнаружили на груди Форэ звезду и поняли, что он и не итальянец, и не командир. Настоящий командир — Эддо дель-Грато выйти не отважился. Форэ погиб вместо него, погиб, чтобы спасти других.

«Война была закончена, партизанские дивизии уже расформировывались, — говорит в кадре Альбино Калетти, известный под именем капитана Бруно. — Если бы не это, по законам военного времени Эддо дель-Грато за трусость был бы предан суду военного трибунала».

В фильме мы видим и Эддо дель-Грато. Он живет где-то в Альпах. Более тридцати лет никто его и не вспоминал. Сам он не осмеливается появиться перед соратниками. Итальянский пейзаж на экране кажется таким знакомым, будто ты где-то в Верхней Имеретии. Вот та узкая дорога, по которой ехала повозка с телом Форэ. Форэ на носилках внесли во двор канцелярии. «Ну, как охотились сегодня, орлы?» — спросила суетившихся возле тела эсэсовцев местная проститутка и носком туфли ткнула плечо покойного. «Отлично!» — ответили те и ухмыльнулись. В ту же ночь ее нашли заколотой ножом в собственной постели. Дорого заплатила она за оскорбление тела погибшего героя.

В фильм, словно из легенды, входят главари движения Сопротивления: уже постаревший, но все еще элегантный Чи-

но Москателли, Кальдара, Альбино Калетти. Они вспоминают соратников, и кинообъектив следует за их воспоминаниями.

...Из Батуми выходит в море «Форэ Мосулишвили» на борту его — монумент, отлитый в Грузии. Скульптура, созданная в Грузии, будет стоять на земле Микеланджело!

В Фондоточе ди-Вербанья уже привезли 1250 павших борцов. Они погибли в боях с фашизмом. Среди них много грузин. Открытие мемориала. Вот постамент, ожидающий прибывшую издалека скульптуру.

Сейчас объявят фамилии тех грузин и живших на грузинской земле детей других народов, которые считались до сих пор без вести пропавшими и которых разыскали создатели фильма в партизанских архивах Италии. Всего их было 83 человека. Имена и фамилии погибших объявляются впервые, и это не просто объявление и утверждение факта. Голос диктора звучит торжественно: ведь речь идет о смерти, к тому же — героической смерти за правду, за утверждение мира на земле, за уничтожение зла.

Важно отметить, что авторы фильма не ограничились лишь показом самоотверженности соотечественников. Они правдиво отображают Италию, распятую на кресте кровавым режимом Бенито Муссолини. С большим тактом и подлинным мастерством сделан эпизод расстрела Альчиде Черви и семерых его сыновей. С перерывами строчит станковый пулемет. Очередь, еще очередь — и, сменяя друг друга, падают каменные статуи.

За несколько дней до того, как в Рим вошли войска союзников, партизаны взорвали автомашину с 32-мя эсэсовцами на борту. Приказ из Берлина: «Расстрелять десять за каждого!». Хватали кого попало. В кадре Фосе Ардпатина — римские катакомбы, место расстрела 325 безвинных итальянцев!

В одной из тюрем Италии — страны, где смертную казнь не предусматривает кодекс законов, и сегодня сидит некто Вальтер Редери, который обвиняется в расстреле 1830 человек, в том числе изнуренных голодом беспомощных женщин, детей и стариков. Осужденный на пожизненное заключение Вальтер Редери взмолился о помиловании и обратился с письмом к мэру города. Мэр обращается к народу. «No!» — огромными буквами отпечатывается на экране ответ народа. И ты чувствуешь всю беспределность народного гнева. Горе тому, кто заслужит этот гнев!

Но самое тяжкое и страшное преступление перед своим народом совершил все же его самозванный вождь — Бенито Муссолини. В фильм вмонтирована уникальная пленка. Говорит Вальтер Аудизио, известный среди партизан под именем Валерио. Это тот человек, которому неписаное правосудие итальянского народа поручило совершить смертную казнь над Муссолини. Перед смертью дуче предложил Вальтеру выкуп за свою жизнь — сулил подарить империю. «Ту империю, которая больше не существует», — комментирует диктор, и невольно вспоминается первая фраза, которой под монотонный стук печатной машины начинается фильм: «Война и в Италии давно кончилась...»

Милан. Площадь Лоренцо. Место, на котором вниз вой повесили прошитый пулями труп Муссолини!



საქართველოს
საქართველოს
საქართველოს

Эта трагическая картина потрясает обилием красочных многоговорящих кадров, за которые мы должны быть благодарны таланту и мастерству операторов фильма Юрия Барамидзе, Гено Рехвиашвили, Ломера Ахвледиани и Энрико Гермесашвили. Не меньшую художественно-смысловую функцию несут музыка композитера Иакоба Бобохидзе и уместно вставленные грузинские и итальянские хоралы. Успеху фильма способствовали и художник Тенгиз Мирзашвили, и звукооператор Василий Арвеладзе.

«Альпийская звезда» — еще один человеческий документ против фашистского кошмара. Общественная значимость фильма выходит за рамки только лишь фиксирования большой заслуги наших соотечественников в итальянском и европейском движении Сопротивления. Это правдивый, искренний рассказ о братстве, раскрывающем крылья и тогда, когда люди говорят на разных языках. Но если они настоящие люди, они легко понимают друг друга, и не только понимают, но навсегда занимают место в жизни друг друга.

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

НЕДАВНО в музее-библиотеке имени И. Гришашвили, что находится в Харпухи, одном из старинных и прекрасных уголков Тбилиси, собрались люди самых разных профессий и возрастов.

90-летие со дня рождения Иосифа Гришашвили собрались отметить ученые, поэты, писатели, преподаватели обществественности Тбилиси, собрались, чтобы еще раз услышать его замечательные стихи, воспоминания близко знавших его людей.

Вечер памяти народного поэта Грузии открыл профессор ТГУ, доктор филологических наук С. Хуцишвили. Он рассказал о ряде мероприятий Союза писателей Грузии, посвященных юбилейной дате.

С воспоминаниями о поэте выступили заслуженная артистка республики Е. Вачнадзе, племянница поэта — заведующая музеем-библиотекой А. Цицишвили, кандидат филологических наук Н. Чихладзе и другие.

С чтением стихов для детей И. Гришашвили выступила его праправнучка Н. Сагарадзе.

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ

ПРЕЗИДИУМ правления Союза писателей Грузии присудил ежегодные литературные премии поэтам, прозаикам и критикам за лучшие произведения, опубликованные в прошлом году.

Премия имени Галактиона Табидзе вручена поэту Иосифу Нонешвили.

Литературные премии также присуждены: в области прозы — писателю Резо Ченишвили, поэзии — поэту Нодару Джалагония, драматургии — писателю Тамазу Чхладзе, критике — критику Гураму Гвердинтели, публицистике — писателю и критику Серги Чилая.

ДЕКАДА ВЕНГЕРСКОЙ КНИГИ

В КНИЖНОМ магазине «Дружба» столицы Грузии прошла Декада венгерской книги, посвященная 35-летию освобождения братской страны от фашизма.

Большая экспозиция, на которой была представлена продукция крупнейших издательств страны, отличалась

многообразным тематикой, оформительским искусством, свидетельствовала о высоком уровне полиграфии.

Внимание посетителей привлекли произведения русских и зарубежных классиков, а также известных писателей Венгрии Ш. Петефи, А. Беркеша, И. Фекете и других. Интерес вызвали издания по искусству, истории архитектуры, книги для детей и юношества, медицинская литература.

КОНТАКТЫ РАСШИРЯЮТСЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ отделение издательства «Наука» выпустило в свет книгу «Русская и грузинская средневековые литературы». В основу этого интересного издания легли материалы двух симпозиумов — «Три дня древнегрузинской литературы в Пушкинском доме», проходившего в Ленинграде, и «Три дня древнерусской литературы в ТГУ», состоявшегося в Тбилиси.

В сборник трудов включены работы многих грузинских ученых, что позволяет надеяться на плодотворное развитие дальнейших научных контактов между учеными-филологами двух городов.

ГЕОРГИЮ ЛЕОНИДЗЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ТБИЛИССКОМ оперном театре имени З. Палиашвили состоялся юбилейный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения народного поэта Грузии Георгия Леонидзе.

Вечер вступительным словом открыл председатель правления Союза писателей Грузии, Герой Социалистического Труда Г. Абашидзе. В своем вы-

ступлении он особо отметил, что в истории литературы нашего народа, в созвездии грузинских поэтов всегда был блеском будет сверкать имя Георгия Леонидзе — истинно народного поэта, замечательного беллетриста, глубокого исследователя. Ему удалось проникнуть в глубочайшие тайны родного языка и украсить свою поэзию неповторимым национальным колоритом.

Слово о поэте произнес секретарь правления Союза писателей Грузии Г. Цицишвили.

От имени Союза писателей СССР, московских литераторов на вечере выступил А. Межиров.

На вечере также выступили первый секретарь Сагареджойского райкома партии М. Мезвришвили, известный армянский поэт Р. Ованесян, абхазский писатель Г. Гублия, академик Академии наук Грузии Ш. Дзидзигури.

Известные грузинские поэты К. Каладзе, И. Нонешвили, Дж. Чарквиани, А. Сулакаури, Ф. Халваши прочитали свои стихи, посвященные Г. Леонидзе.

На вечере выступили мастера грузинской сцены, солисты и хор Тбилисского оперного театра, народная артистка Грузии Т. Ишхнели, ансамбли «Рустави» и «Гареджи».

На юбилейном вечере присутствовали товарищи П. Гиладшвили, Г. Енукидзе, Т. Ментешашвили, С. Хабешшвили, Т. Мосашвили.

* * *

В ГОСУДАРСТВЕННОМ музее грузинской литературы имени Г. Леонидзе открылась большая экспозиция, посвященная жизни и творчеству поэ-

та-академика Георгия Леонидзе.

Известные грузинские поэты и писатели посетили Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии на Мтацминда и возложили цветы на могилу поэта.

* * *

НА РОДИНУ поэта — в село Патардзеули, на торжества, посвященные юбилейной дате, съехались многочисленные почитатели таланта Г. Леонидзе. Гости из разных уголков Грузии, из соседних республик встретились здесь, чтобы еще раз выразить свою любовь и

восхищение славному сыну своего народа.

Встречу вступительным словом открыл первый секретарь Сагареджойского райкома Компартии Грузии М. Мезвришвили. С воспоминаниями выступили вице-президент Академии наук Грузинской ССР Г. Джибладзе, писатель Э. Маградзе, украинский поэт В. Коротич, директор Института истории партии при ЦК КП Грузии Д. Стура, председатель правления Союза писателей Грузии Г. Абашидзе и другие.

Торжества на родине Г. Леонидзе вылились в яркий праздник грузинской поэзии.

БИБЛИОГРАФИЯ

Грузинская литература в переводе на русский язык

Синельников М. «Аргонавтика». Стихи. Переводы из грузинских поэтов. Тбилиси, «Мерани», 1980. 301 с. 10.000 экз. 1 р. 30 к.

Статьи о грузинской литературе

Рецензии на книги грузинских авторов

Э. Елигулашвили. «Закономерность перемен». Статья о книге Константина Лордкипанидзе «Что произошло в Абаше». «Литературное обозрение», 1980, № 1.

М. Размадзе. Рецензия на сборник рассказов К. Зурабовой «Только не плачьте». «Литературное обозрение», 1980, № 1.

И. Гринберг. «Диалектика таланта». Рецензия на книгу К. Каладзе «Книга моих дней и ночей». «Дружба народов», 1980, № 1.

Дм. Иванов. «Прекрасная земля Абхазии». Рецензия на книгу М. Аджинджала «Корни». «Дружба народов», 1980, № 2.

Е. Горбунова. «Русская литература в Грузии». Рецензия на книгу Л. Хихадзе «Из истории восприятия русской литературы в Грузии». «Вопросы литературы», 1980, № 2.

И. Гринберг. «...И жернов еще не учился помолу». **А. Нуйкин.** «Взлеты и просчеты». Рецензии на роман Отара Чиладзе «Шел по дороге человек». «Литературное обозрение», 1980, № 2.

Э. Елигулашвили. «Настоящее время». Штрихи к портрету Отара Чиладзе. «Дружба народов», 1980, № 2.

БАЛУАШВИЛИ Валентина Иосифовна. Доктор филологических наук, профессор, декан факультета русской филологии ТГПИ им. А. С. Пушкина. Автор книги «Встречи с Грузией» и многих работ по проблемам теории истории литературы, межнациональным литературным связям, опубликованных во всесоюзных и республиканских сборниках и журналах.

ГВЕРДЦИТЕЛИ Гурам Евстафьевич. Род. в 1930 г. Кандидат филологических наук, критик, литературовед. Печтается с 1955 года. Автор ряда монографий и сборников литературно-критических статей и рецензий.

КВИЦАРИДЗЕ Давид Васильевич — секретарь Кутаисского отделения Союза писателей Грузии. Род. в 1920 г. в г. Кутаиси. Начал печататься со второй половины 40-х гг. Участник Великой Отечественной войны. Его первая книга — повесть «В Ордышевском лесу» вышла в 1954 г. Автор нескольких романов, пьес, множества рассказов. Произведения Д. Квицаридзе переводятся на русский, украинский, белорусский, польский и другие языки.

МАРЧЕНКО Алла Максимовна. Критик, литературовед, переводчик. Окончила филоло-

гический факультет МГУ, член СП. Автор книги «Поэтический мир Есенина», переводит на русский язык эстонскую, белорусскую, армянскую поэзию. В настоящее время работает над книгой о Лермонтове.

МАЧАИДЗЕ Леван Арсенович. Род. в 1925 г. Член Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны, главный редактор научного центра Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Грузинской ССР. Заслуженный работник культуры Грузинской ССР. Автор книг: «За серебряным кладом», «Третий должен уйти», «Наедине с совестью», пьес и сценариев многих документальных и научно - популярных фильмов.

МКРТЧЯН Левон Мкртычевич. Род. в 1933 г. Армянский литературовед и критик, доктор филологических наук, профессор. Занимается вопросами теории и истории художественного перевода и литературных связей.

НАТРОШВИЛИ Георгий Константинович. Род. в 1910 г. Писатель, литературовед. Редактор журнала «Мнатоби». Автор сборников повестей и рассказов и литературоведческих трудов, рассматривающих проблемы развития грузинской литературы и классического

наследия. Лучшие произведения Г. Натрошвили переведены на языки народов СССР и изданы за рубежом.

СЕРЕБРЯКОВ Константин Багратович. Род. в 1914 г. в Тбилиси. Член СП СССР. Участник Великой Отечественной войны. Заслуженный работник культуры РСФСР. Обозреватель «Литературной газеты». Автор сборников, публицистических статей и очерков — «Уроки жизни», «Мудрость движения», «По городам Европы» и др.

ЦАИШВИЛИ Саргис Соломонович. Род. в 1920 г. Доктор филологических наук, профессор. Автор ряда книг, посвященных вопросам руствелологии и древнегрузинской литературы, и критических статей.

ЦИЦИШВИЛИ Георгий Шалвович. Род. в 1921 г. в Тбилиси. Сатирик, критик, литературовед. Член-корреспондент АН Грузинской ССР. Автор нескольких сборников рассказов, монографий о грузинских писателях и взаимосвязях грузинской и русской литератур, трудов по теории литературы, истории грузинской драматургии, теории грузинского советского театра.

ЧИЛАДЗЕ Тамаз Иванович. Род. в 1931 г. Грузинский писатель. Первая книга вышла в 1956 году. Автор множества книг — поэтических и прозаических. Последние пьесы — «Роль для начинающей актрисы» и «Гнездо на девятом этаже» поставлены на сцене театров им. Ш. Руставели и К. Марджанишвили.

Произведения Т. Чиладзе переводятся на языки народов СССР, издаются за рубежом.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гурам АСАТИАНИ (главный редактор),

Заза АБЗИАНИДЗЕ, Реваз АСАЕВ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Гурам ДОЧАНАШВИЛИ, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Натела КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Эмзар КВИТАИШВИЛИ, Георгий МАРГ-ВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Отар НОДИЯ, Лия СТУРУА, Эммануил ФЕЙГИН, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

НАШ АДРЕС: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

На первой странице обложки: деталь рельефа плиты из Цebelды (VII—VIII вв.).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

„ლიტერატურული მხატვრობა“

— ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჟურნალი (რუსულ ენაზე)

გამოდის 1957 წლის ივნისიდან. № 5 მაისი, 1980 წ.

Сдано в набор 7 апреля 1980 г. Подписано к печати 30 мая 1980 года. 7 печ. листов, усл. листов 11,76. Формат 84×108¹/₃₂.

Заказ 1004

Тираж 10.000

УЭ 01548

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

С 1980 ГОДА ЖУРНАЛ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ» ВЫХОДИТ В УВЕЛИЧЕННОМ ОБЪЕМЕ. В СВЯЗИ С ЭТИМ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЗА КАЖДЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР СОСТАВИЛА 60 КОП., А СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ — 7 РУБЛЕЙ 20 КОП.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВСЕХ ПОДПИСЧИКОВ ДЛЯ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ ОБРАТИТЬСЯ В ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗПЕЧАТИ».

60 к

64/85

ИНДЕКС 76117

ՀԱՅԿԵՆՏ
ՀՈՒՆՏԵՐԵՆԻ